

[Polaris]

Иван Наживин



КРУГИ
ВРЕМЕН

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXVII



Salamandra P.V.V.

**Иван
Наживин**

**КРУТИ
ВРЕМЕН**

Повесть

Salamandra P.V.V.

Наживин И. Ф.

Круги времен: Повесть. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 77 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CXVII).

Покорив Россию, азиатские орды вторгаются на Европу, уничтожая города и обращая население в рабов. Захватчикам противостоят лишь горстки бессильных партизан...

Фантастическая и монархическая антиутопия «Круги времен» видного русского беллетриста И. Ф. Наживина (1874-1940) напоминает о страхах «панмонгольского» нашествия, охвативших Европу в конце XIX-начале XX вв. Повесть была создана писателем в эмиграции на рубеже 1920-х годов и переиздается впервые. В приложении – рецензия Ф. Иванова (1922).

Книгоиздательство „Дѣтинець“.

Серія С. — № 1.

Ив. Наживинъ:

Во мглѣ грядущаго.

==== Повѣсти. ====

ВЪ НА

1921.

КРУТИ ВРЕМЕН

I.

ANNO DOMINI 1947

Вторая великая европейская война, наконец, кончилась. В одном из роскошных зал Дворца Мира в Гааге собралась международная мирная конференция: корректные, несмотря ни на что, дипломаты, много военных и несколько даже дам-делегаток из передовых государств. Это было уже не первое заседание. Сговориться державы никак не могли, и настроение все более и более повышалось, чему немало способствовали и беспрерывно получаемые радиостанцией дворца тревожные телеграммы со всех концов мира, которые то и дело появлялись на большом экране за креслом председателя. Последняя телеграмма гласила: *«Вашингтон. — Американский флот обстреливает прибрежные города Китая и Японии. Нагасаки в огне».*

— Германия никогда не признает туманного исторического принципа, ибо в войне она признает только один принцип: тяжелый германский меч!.. — при все возрастающем волнении в зале сурово и властно говорил представитель Германии, кн. Гогенлоэ, седой тяжелый генерал с густыми усами. — Мы уже объединили под своей властью все немецкие земли Европы, теперь Германия-победительница стоит пред осуществлением последних двух пунктов своей военной программы: возвращение отнятых у нее по версальскому договору колоний и приобретение свободного выхода в океан чрез Антверпен — с одной стороны и возмещение ее военных убытков в виде соответствующей контрибуции — с другой. И для того, чтобы не слишком далеко углубляться в праздные разговоры, я уполномочен Императором заявить, что в осуществлении этих двух основных пунктов Германия не остановится даже пред третьей мировой войной...

Бледный и корректный, лорд Динсфильд заявил:

— Англия без колебания принимает вызов. Там, где должно царить право, не место мечу.

— О!.. А Ирландия?.. — крикнула среди возбужденного шума седая, сухонькая г-жа Гюрцеллер, делегатка Швейцарии.

— Внутренние дела Великобритании не подлежат обсуждению конгресса... — холодно ответил лорд Динсфильд.

— Господа... — встав, взволнованно проговорил кардинал Маццинн, высокий, плотный, в красном одеянии. — С величайшей скорбью я, представитель Святейшего Престола, вижу, как мало среди нас единения, мира, желания идти на взаимные уступки... Особенно это ужасно теперь, когда всему христианскому миру грозит такая страшная опасность. Многие из нас склонны легкомысленно преуменьшать значение вторжения панмонгольских сил в пределы России. Спорить из-за какой-нибудь пустышной области, когда головные разьезды монголов перевалили уже чрез Урал — посмотрите на карту и вы поймете, что это значит... — в этом я вижу, простите меня, внушающее мне ужас легкомыслие... Агенты Императора Монголов на работе везде и всюду и вот, смотрите, — указав на экран, воскликнул он, — радио извещает нас, что появились уже отряды каких-то азиатов и на границах Кавказа. «Азия для азиатов» это было, конечно, только начало и теперь это уже совершенно ясно. Посмотрим правде в глаза прямо: с одной стороны стоит старая Европа, только что пережившая тяжкую, долголетнюю войну, Европа, только что начинающая приходить в себя после долгого ряда всяких социалистических «опытов», вконец расшатавших ее хозяйство, Европа, мятущаяся в иступленных распрях, Европа голодная, раздетая, поражаемая эпидемиями, усталая, измученная, с упавшим до последней степени производством, с миллионами безработных, Европа, где нет в то же время сырья для фабрик и где за отсутствием топлива умирают последние железные дороги, Европа, охваченная чисто апокалипсическими бедствиями, а с другой стороны — бесчисленные, как песок морской, объединенные ненавистью к европейцам, народы Азии с могущественным императором монголов во главе. Пред-

ставьте себя бесконечные миллионы этих воинов, которые довольствуются горсточкой риса в день, спят где угодно под открытым небом и презирают смерть. Я говорю вам: это новый всемирный потоп, это гибель всего христианского мира, если мы не опомнимся, не объединимся и не пошлем наших крестоносных легионов навстречу Дракону, несущему нам погибель из необозримых степей Азии... Но мы не смеем медлить...

— Я преклоняюсь пред благородным предостережением представителя Святейшего Престола... — вкрадчивым и мягким голосом сказал представитель Франции, г. Бержэ. — Я понимаю его великую тревогу за нашу цивилизацию, но не от Франции, к сожалению, зависит утишить сжигающий старую Европу пожар международной розни. Франция, которая всегда несла во главе народов факел цивилизации, может рассчитывать на некоторую признательность со стороны человечества. Мы готовы отказаться от многого в интересах мира и просим только остаться в границах 1914 г.

— Ого!.. — сухо рассмеявшись, воскликнул кн. Гогенлоэ. — Вы скоро, однако, забыли Версаль... Где же тогда был ваш факел или как его там?.. Довольно романтической болтовни!.. Вы узнаете теперь силу нашего вновь забронированного кулака!..

Возгорается ожесточенный спор из-за границ между представителем Польши кн. Сапегой, высоким, голубоглазым и пылким, представителем Чехии, д-ром Хлебичеком, толстеньким и лысым, и гр. Карольи, представителем Венгрии, гордым магнатом с длинными каштановыми усами. Председатель, усиленно звоня, едва успокаивает их и дает слово мистеру Кросби, представителю Соединенных Штатов, сухому, длинному, с гладко выбритым лицом, худым и умным, который ограничивается лишь коротким заявлением, что в назревающем, видимо, новом конфликте Соединенные Штаты останутся в стороне, но что морские силы их оказывают и будут оказывать помощь России в ее борьбе с восставшей Азией.

На экране появляется новое радио: «Рим. — Правительство свергнуто. Власть снова захвачена левыми социа-

листами. В городе уличный бой. Базилика св. Петра горит».

— Вот несчастная страна!.. — воскликнула г-жа Райтола, представительница Финляндии, в золотых очках и полумужском костюме. — Она не выходит из крови...

Председатель дает слово представителю России, князю Глебу Суздальскому, молодому гвардейскому генералу с приятным и умным лицом, который много заставил говорить о себе в течение войны и был известен, как горячий патриот и близкий друг молодого императора.

— Господа, мы, кажется, уже забыли о вещи речи представителя Святейшего Престола... — взволнованно начал князь. — И на мне, представителе России, лежит обязанность сказать вам, как глубоко прав высокочтимый кардинал. Оставим наши мелочные споры, господа, и объединимся для отпора общему врагу. Россия под мудрым водительством нашего молодого императора только что начала оправляться от тяжких последствий многолетней гражданской войны, как была снова вовлечена в европейскую войну. На этот раз мы исполнили свой долг до конца и снова стали в наши естественные национальные границы. Теперь на возрождающуюся к новой жизни страну обрушивается новое бедствие, нашествие народов Азии. Господа, припомните: это уже второй раз в истории принимает Россия на себя роль щита Европы, обращенного на восток. Мы выполняем долг наш с честью, но — мы изнемогаем, господа. В ваших интересах немедленно прийти к нам на помощь, — враг уже у ваших дверей. Если бы вы видели, во что обращена им цветущая Сибирь и вообще те области, который он прошел, вы не колебались бы ни одной минуты ... И города, и села, и все, что попадает на пути, стирается им беспощадно с лица земли, все негодное для тяжелых работ население истребляется, а все, что может работать, угоняется в тылы, в черное, беспросветное рабство... Господа, у меня нет слов, чтобы изобразить пред вами весь тот ужас, что свершается там, на востоке... На наших глазах воскресает далекое прошлое, времена Чингис-Хана, времена Атиллы, на взбаламученную, захлебывающуюся в братской крови Европу идет

какой-то новый суд Божий. Мы должны забыть все и единой светлой ратью рыцарей без страха и упрека встать на защиту наших очагов и великих идеалов человечности и культуры ...

— Обычная русская выпренность и фантазерство... — насмешливо бросил князь Гогенлоэ.

— Нет, эти немцы опять зазнались!... — вскочив с кресла, воскликнул г. Срб, представитель Сербии, уса́тый и горячий старик. — Они ведут себя непозволительно...

— Довольно красивых слов!... — крикнул толстый, жирный и сонный Стамбул-паша.

— Не языком, а мечом на полях сражений решим мы все... — стукнув кулаком по столу, решил кн. Гогенлоэ.

— Но Боже мой!... А Азия?... А монголы?... — послышались со всех сторон тревожные голоса.

— Не запугаете!... — крикнул кн. Гогенлоэ. — Десять германских корпусов и от всей этой дикой сволочи не останется и следа...

Тревожный и озлобленный шум усиливался все более и более. Напрасно звонил и уговаривал председатель — его никто не слушал. Делегаты ожесточенно спорили, разбившись на группы. Некоторые искали что-то на большой карте России на стене. Кн. Гогенлоэ, что-то крича, стучал кулаком по столу.

— Великобритания никогда не позволит этого... — твердо и холодно заявил лорд Динсфильд, вставая.

— Мы обойдемся и без ее позволения... — насмешливо отозвался кн. Гогенлоэ.

— Довольно нам вашей опеки!... — заметил Стамбул-паша, весь бледный, с трясущимися руками.

— В таком случае, — выпрямившись, гордо и торжественно заявил лорд Динсфильд, — именем Его Величества Короля Великобритании объявляю, что с настоящего момента Великобританское Королевское правительство считает себя в состоянии войны с Германией и ее союзниками...

Зал загудел растерянно и тревожно. Некоторые в отчаянии хватаются за голову. Звонок председателя звонит, не переставая. А на экране выскакивает новое радио: «Петро-

град. — *Головные отряды неприятеля замечены под Пермью. Уфа спешно эвакуируется. С Оренбургом сообщение прекратилось — полагают, что в ожидании главных монгольских сил восстали татары, калмыки и башкиры. Император отбыл на Волгу, чтобы стать во главе вооруженных сил России».*

— Господа, это мене-текел-фарес на нашем кровавом пире!... — воскликнул князь Глеб, показывая на экран. — Боже, да неужели же это конец Европы?

— У вас слишком слабы нервы, князь... — насмешливо заметил кн. Гогенлоэ. — Обеспечьте нам ваш нейтралитет в новой войне нашей с Англией и завтра же часть наших корпусов будет двинута на Волгу.

— Император России никогда не признает того, что противно справедливости, как ваше требование Антверпена... — отвечал кн. Глеб.

— Ну, так и погибайте с вашим императором!... — бешено крикнул кн. Гогенлоэ, но в ту же минуту, зловеще щелкнув, на экране появилось новое сообщение: *«Петроград. — Объявлен Императорский указ о всеобщем ополчении. На Кавказе началось восстание всех горных мусульманских племен».*

За огромными окнами дворца вдруг послышался тысячеголосый стройный хор. Делегаты бросились к окнам, — вся широкая, прямая и красивая улица была залита многотысячными толпами рабочих, которые шли с красными знаменами и суровыми, торжественными голосами пели:

C'ese la lutte finale!
Levons-nous et demain
L'Internationale
Sera le genre humain!*

* Цитируется, с небольшими искажениями, оригинальный франц. текст «Интернационала» Э. Потье: «Время битвы настало / Все сплотимся на бой. / В Интернационале / Сольется род людской!» (пер. В. Граевского и К. Майского). (Здесь и далее прим. ред.).

II.

ГИБЕЛЬ РОССИИ

Последнее сопротивление русских было сломлено Азией в чудовищной битве под Москвой, где погибла большая часть русского войска с молодым императором во главе. Остатки разбитых корпусов в полном беспорядке отступили за Волгу, в северные леса, где люди тысячами гибли от голода, холода и заразных болезней. А по обожженным, полуразрушенным улицам древней столицы царей московских в дыму догорающих пожаров, в нестерпимом зловонии бесчисленных трупов полились широкие реки монгольского нашествия: стройные железные японские полки, страшные, косоглазые, похожие на старых обезьян китайцы, сибирские инородцы в своих меховых малахаях на маленьких юрких лошадках, татары под зеленым знаменем пророка. Огромные, тяжелые верблюды, как корабли, медленно плыли по этому пестрому взбаламученному морю. Слышится унылая, вся в причудливых завитках, дикая музыка; истерически взвизгивают какие-то дудки, глухо ухает барабан, печально звенят проволоки оборванного телеграфа. Кто-то гнусаво поет дикую бесконечную песню... Тянутся огромные толпы пленных и длинные бичи, как змеи, извиваются над их покорно склоненными головами и больно жалют измученное тело. И слышится жалкий плач детишек...

А с востока неудержимо плывут все новые и новые тучи завоевателей...

III.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЕВРОПЫ

Париж горел. Среди туч дыма чуть виднелась острая игла башни Эйфеля, точно вонзившаяся в низкое, раскаленное небо. То и дело глухо ухают страшные взрывы. По заваленному всяким скарбом шоссе в сумерках торопливо бегут, бегут, бегут перепуганные, потерявшие рассудок люди. Часть их, отдыхая, присела на опушке небольшой рощицы. Тут солдаты всех национальностей, духовенство, женщины, дети, рабочие, студенты, гризетки...

— Боже, Боже, когда же конец?... — слышатся голоса замученных беженцев. — Теперь, кажется, скоро, — помощи ждать уже неоткуда. Но где же мои дети, где они, великий Боже?... Я готова принять всякую муку, но дети, дети!... О-о!...

— Ах, бедная... — участливо вздохнула златокудрая красавица Ирмгард, дочь профессора философии Гэттингенского университета Шульца, который устало сидел тут же, на гнилом пне, заботливо охраняя старенький чемоданчик со своими рукописями. — Как бы помочь ей?

Ответом ей был только страшный взрыв вдали.

— Смотрите, смотрите, это Нотр-Дам взорвали... — слышались испуганные голоса. — Смотрите, какой дым!... Нет, конец всему!...

— Не тревожьтесь так... — тихо проговорил князь Глеб с окровавленной повязкой на лбу, обращаясь к Ирмгард, которая в отчаянии схватилась за голову. — Вот еще немного стемнеет, и пойдем дальше. Их силы тоже ведь совсем истощены. Среди них свирепствует небывалая чума, а в тылах, по лесам, по горам, в развалинах городов, всюду действуют отряды партизанов, без пощады истребляющих их.

— Вчера я встретила в Париже одного польского графа, который бежал от них из плена, с работ... — тихо сказала Ирмгард. — Он рассказывает, что сзади их настоящая пустыня: Москва, Варшава, Вена, Берлин, все это мертвые раз-

валины, где воют голодные собаки и страшно белеют среди камней скелеты людей...

— Все проходит... Пора привыкнуть к этому и не махать руками, делая страшное лицо... — уныло сказал оборванный, неопрятный старик-швейцарец с большой белой бородой. — Зачем так? Ни зачем. А зачем все это ни зачем? Неизвестно. О-хо-о-хо...

Снова глухо охнула земля от страшного взрыва и острая игла башни Эйфеля безобразно и страшно повисла вниз. Зарево становилось все багровее и зловещее и тревожные крики не находящих себе пристанища птиц наполняют душу тоской. А по дороге все бегут, все бегут, все бегут испуганные, обезумевшие люди...

— Надо идти и нам... — тоскливо говорит Ирмгард.

— Скоро пойдем... — говорит князь Глеб. — Только надо разбиться на мелкие группы, — так легче и скрываться и найти пищу.

— Да, да, разумеется... — сказал профессор Шульц и воскликнул с тоской. — Ах, Ирмгард, если бы не ты, как все просто решалось бы...

— О, нет... — отозвался итальянец-теософ, высокий человек с водянистыми глазами и козлиной бородкой. — Каждый из нас вечный жид, которому нет покоя во вселенной. Сидеть, бежать, умирать — все равно: страдание не кончается. Спасение в том, чтобы убить в себе само желание жить ...

— Какой вредный мистицизм!... — тихо воскликнул молодой человек.

— Вот еще один! — вглядевшись в него злобно пробормотал пожилой рабочий. — Доболтались! «Мы создадим для вас рай...» Создали...

— Проклятые болтуны... — зашумела толпа рабочих. — Отдайте нам наши углы, отдайте жен и детей наших, отдайте заводы, где мы находили кусок хлеба... Вы все разрушили, будьте вы прокляты!... «Братство народов»... Ну, а теперь что вы скажете?

— Я не думаю, товарищи, чтобы мы ошибались... — побледнев, отозвался молодой социалист. — Но если бы мы и

ошибались, то все же мы не хотели вам зла... Мы боролись за ваше счастье...

Рабочих точно взорвало и, напирая на социалиста, они злобно бросали ему в лицо тяжкие обвинения:

— Знаем, к чему вы стремились... Портфели министерские вы ловили, автомобили, жирные куски за счет нас, дураков... Теперь уж не обманете...

— Они все подкуплены монгольским императором... — крикнул старый рабочий. — Чтобы все разрушить и обессилить нас. А они и у него в автомобилях кататься будут...

Рабочие с яростными ругательствами полезли на социалиста.

— Стыдно!... — крикнул князь Глеб. — Если у вас есть еще силы, пойдем бить азиатов, а не беззащитного человека... Не одни они — все мы виноваты...

— Болтуны проклятые... — кричали рабочие. — Как, бывало, хорошо жилось, пока эти черти не появились... Отработал, получил свое и спокоен: стаканчик абсента, музыка, в кегли партийку сразишься — пришли эти дьяволы и все кверху ногами поставили...

— И прекрасно!.. — крикнул молодой болгарин-анархист. — Лучше погибнуть, чем жить так, как жили прежде...

— И черт с тобой, погибай... — снова яростно закричали рабочие. — Зачем же ты сюда убежал? И погибал бы...

— Вы не покинете меня? — незаметно пожав князю руку, прошептала Ирмагд.

— Если бы я даже этого и захотел, я не мог бы... — возторженно глядя на нее, так же тихо отозвался князь. — Сперва я устрою вас где-нибудь в глуши, в безопасности, а потом приступлю к организации отряда партизанов... Но буду близко к вам, — иначе я не могу жить теперь...

— Милый... — тихо прошептала девушка и усталые глаза ее просияли счастьем.

— Смотрите, еще кто-то идет... — послышался чей-то голос.

Раненый офицер, ковыляя, подходит к роще и устало опускается на землю.

— Ну, что, как там? — тускло спросил кто-то в багровом сумраке. — Есть еще надежда?

— Все погибло... — безнадежно махнув рукой, устало сказал офицер. — Они истребляют все живое и зажигают город со всех концов. И я думаю, господа, что оставаться тут небезопасно, — их разъезды рыщут уже по окрестностям.

— Вот, вот... — раздались голоса со всех сторон. — Мы говорили, что надо бежать дальше. Нет, и в слепую тоже идти нельзя, — пусть пойдут сперва в разведку несколько человек, — посмотрят, свободны ли пути на юг и запад. Кто пойдет?

— Я пойду... — сказал князь Глеб. — А со мной вот вы, вы и вы... — указал он на нескольких солдат. — Я сейчас же вернусь... — тихонько сказал он Ирмагд.

И, когда разведчики ушли, раненый офицер тусклым голосом измученного человека сказал:

— Вы не можете себе представить той ярости, которая овладела этими дикарями!.. Я видел, как вонючая толпа их валила на землю Вандомскую колонну. Из разбитых окон Лувра летели на мостовую картины, статуи, драгоценные коллекции, мумии и все это тут же сваливалось в кучу и зажигалось... Триумфальная Арка взорвана и колесница славы лежит на окровавленной мостовой. От сгоревшей Мадлэн остались только стены и колонны и жутко смотрят с закоптелого фронтона слова: «Свобода, Равенство, Братство», а вокруг, среди бесчисленных баррикад, тысячи трупов французов, немцев, англичан, русских, венгерцев, румын, бельгийцев, сербов... Европейцы дрались с мужеством обреченных на смерть, но ничто не могло одолеть этой страшной бесчисленной саранчи... Но чума среди них действительно ужасная...

— Да ведь не только среди них... — уныло заметил профессор Шульц.

— Конечно, заболевают и европейцы, но значительно меньше... — с неудовольствием отвечал раненый.

Чудовищный взрыв потряс все вокруг.

— Боже мой!.. Господи, пощади!.. — падая на землю, с отчаянием вопили люди. — Дети, где вы, детки мои?.. А-а-а-а!.. О, Боже, какая мука!..

— Спасайтесь!.. — в ужасе крикнул молодой рабочий, вбегая. — Их разъезды совсем рядом... Скорее!..

— А как же Глеб? — в тоске подумала Ирмгард, заметавшись. — Что же делать?

Среди невероятного смятенья и криков ужаса, побросав последний скарб, несчастные разбегаются, — кто в рощу, кто по вдруг опустевшей дороге.

— Скорее, скорее... — вбегая, повторял профессор. — Ирмгард, не отставай же...

И почти в то же мгновение из кустов показался разъезд под командой маленького, чистого японского офицера. Среди всадников тунгусы, калмыки, башкиры, якуты, китайцы, — пестрая, косоглазая, спокойно-жестокая азиатская орда. Они с любопытством посмотрели на брошенный беженцами скарб. Один из всадников ударом плети выгнал из кустов профессора Шульца.

— Господин офицер, — на ломаном английском языке залепетал перепуганный профессор. — Я хотел... я вернулся сюда только... захватить мои рукописи... плод тридцатилетней работы... Ничего нелегального... Это труд о духовномонистическом понимании мира...

Офицер бесстрастно бросил какое-то короткое горловое слово. Один из якутов поднял свой коротенький карабин, выстрелил и профессор Шульц упал на свой старенький чемоданчик. Разъезд тотчас же шагом поехал дальше. Вдали все охали взрывы...

Из кустов, осторожно озираясь по сторонам, вышел бледный и встревоженный князь Глеб и в ужасе остановился над брошенным беженцами скарбом.

— Ирмгард!... — тихонько позвал он.

Молчание. Зарево. Взрывы.

— Ирмгард!...

Вдруг он увидел труп профессора Шульца и в отчаянии схватился за голову. Неподалеку снова слышался дробный звук копыт. Князь Глеб, тревожно прислушавшись, бро-

сился на землю и притворился мертвым. Выехал новый разъезд азиатов, такой же пестрый, дикий, флегматичный и, равнодушно посмотрев на брошенный лагерь, проехал дальше. Князь Глеб осторожно приподнялся и снова тихо позвал:

— Ирмгард!...

Но — ответом был только глухой шум гибнущего вдали огромного города...



IV.

СТИХИ ГЕТЕ

Развалины большого богатого дома. В окна и пробоины в стенах — страшный вид разрушенного Берлина. Жалобно звенят оборванные проволоки телеграфа. На одном из столбов мотается скелет когда-то повешенного человека. Среди развалин сидят на камнях три оборванных, обросших волосами партизана: фон Гартман, полковник германской гвардии, сильный и мужественный, Войницкий, поляк-чиновник, серенький, бесцветный человечек, и Арвид Гренберг, приват-доцент Стокгольмского университета, крепкий блондин, из голубых глаз которого смотрит северная душа, порывистая и смутная. Пред ними костер, на котором в закопченном котелке варится что-то. Они поддерживают огонь обломками дорогой мебели и книгами, которые они берут из богатой библиотеки, занимающей всю стену, и бросают в огонь, даже не раскрывая их.

— Тише!... — проговорил Гренберг. — Кто-то идет...

Все, схватив винтовки, затаились у окон. По засыпанной камнями и всяким мусором улице показался князь Глеб, который осторожно, с винтовкой в руках, пробирался вперед.

— Кажется, свой... — шепнул тихонько Войницкий.

— Да, но осторожность никогда не мешает... — отвечал Гартман и громко, по-военному, крикнул:

— Стой!

Схватившись за винтовку, князь остановился.

— Кто? Откуда? Зачем? — строго спросил полковник.

— Русский офицер из Парижа домой... — отвечал князь Глеб.

— Разрядите винтовку, закиньте ее за спину и идите сюда...

Князь исполнил все, что от него требовали, и вошел в разрушенную библиотеку. Одно мгновение все пристально, испытующе смотрели друг на друга.

— Ну, давайте знакомиться... — сказал полковник, протягивая руку, и назвал себя и своих товарищей. — Милости просим к нашему огоньку... Так вы из Парижа?

— Да. Я был при его взятии месяца три назад... — отвечал князь. — Да, да, то же, что и здесь, — разрушения страшные... Теперь, по слухам, они перебираются чрез Ламанш...

— Ну, а в пути что видели? — спросил поляк. — Правда ли, что партизанов становится все больше и больше?...

— Я не сказал бы... — отвечал князь. — Правда, в горах Швейцарии их скопилось одно время довольно много, но скоро начался среди них голод — такой, что люди доходили до людоедства... И теперь там, кажется, все кончено... Только несколько потерянных, ко всему равнодушных людей-скелетов с угасшими глазами бродят по улицам мертвых городов в тщетных поисках за пищей. И трудно им бороться: у Кладно, где работают на добыче угля до десяти тысяч пленников, партизаны убили ночью двух китайцев из караула, а наутро азиаты распяли на крестах двести пленных и партизаны в ужасе ушли в Богемский Лес...

— Раз добывают уголь, значит, хотят восстановить жизнь... — заметил Войницкий. — Может быть, все обойдется и снова можно будет жить по-человечески...

— Кто знает, что они думают?.. — задумчиво отвечал князь. — Во всяком случае разрушенные города не восстанавливаются ими, — только на месте св. Петра в Риме, по слухам, они возводят колоссальный мавзолей для недавно умершего от чумы наследного принца. И поддерживают они только ту промышленность, которая нужна им непосредственно для ведения войны. А кончится война, будут желтыеладыки и белые рабы...

— А все-таки надо держаться... — сказал полковник.

— Разумеется... — согласился князь. — Тем более, что и они, видимо, ослабевают. Не говоря уже о чуме, у них то и дело вспыхивают междоусобицы. Японцы, как наиболее культурный элемент, испугались в конце концов разнузданности этих диких орд и попытались навести некоторый порядок. У Ламанша, благодаря этому, вспыхнуло кровавое восстание. Так как все технические средства в руках япон-

цев, с восстанием они справились, но кровопролитие было страшное... И чума страшно косит их. Вся Европа завалена теперь трупами и местами запах таков, что я вынужден был обходить их далеко стороной. Может быть, все кончится полной гибелью как побежденных, так и победителей. Вы не можете себе представить, как стало всюду мало людей! От Парижа до Берлина я не встретил и тысячи европейцев. Многие почти совсем отвыкли говорить. И на себе замечаю, что я стал говорить вслух совершенно один...

— Да, вполне возможно, что, если это и не конец человечества, то конец нашей цивилизации, наш конец... — задумчиво заметил Гренберг и в глазах его засветилась тоска.

— И чудесно!.. — вдруг весь потухая, сказал Войницкий. — Так надоело это звериное существование...

— Ох, уж эти мне славяне!.. — покачал головой Гартман. — От одного слова загораются и от одного слова потухают. Нет, мы еще поборемся... Тише!.. Опять кто-то...

Все снова с винтовками бросаются к окнам. На улице показывается парный разъезд — два калмыка в меховых маляхях. Полковник сделал знак приготовиться.

— Старайтесь не задеть лошадей... — прошептал он. — Пригодятся... Ну!..

Гулко треснул залп. Оба всадника упали. Лошади, окружившись, стали.

— Ну, мы пойдем посмотрим, нет ли чего съестного в тороках, — сказал полковник. — А вы, господа, поглядывайте, — может быть, на выстрелы еще какой-нибудь набежит... Идем, Войницкий...

Они вылезли чрез пробойну на улицу.

— И кто бы мог когда подумать, что на Площади Согласия будут когда-нибудь плясать шаманы, а в Елисейских полях станут шатры кочевников?.. — задумчиво проговорил князь.

— Да... — поворачивая в огне какой-то толстый том, отвечал Гренберг. — Как вспомнишь, что немного лет тому назад на всех перекрестках социалисты обещали измученному человечеству близкий рай... А что получилось!..

— С победой... — вяло проговорил Войницкий, вводя лошадей и привязывая их в углу около библиотеки. — Нашли вот какие-то лепешки. А лошадки пока послужат нам, а к зиме съедем.

— Ну, господа, суп наш готов... — сказал полковник, садясь. — Давайте подкрепимся, а потом надо будет переместить место: трупы могут навести на нас. Садитесь, князь... Ложек у нас нет, суп пьем из походных стаканов. А вот монгольские лепешки — не знаю уж, из чего они сделаны. Приступим, господа...

Все взялись за дымящийся суп.

— А что вы думаете делать в России, князь? — спросил Войницкий. — Ведь там тоже пустыня...

— Прежде всего просто в свои места захотелось... — немного смутившись, отвечал князь. — А потом... я ищу близкого человека.

— Не хочу разочаровывать вас, князь, — заметил полковник. — Но иголку в Великом Океане, кажется, теперь легче найти, чем человека в современной Европе...

— Я это очень почувствовал за эти три месяца, — сказал князь. — Но мне повезло: я уже напал на след своей... невесты. И, может быть, господа, вы даже поможете мне немного в этом деле. Скажите: не проходил ли тут на восток эшелон молодых женщин под конвоем китайцев?

— Прошел... — сказал Гренберг. — Всего два дня тому назад я видел его из засады на привале в Аллее Победы. Но дело в том, что таких эшелонов идет немало...

— Немало? — воскликнул князь. — Вот что... И все идут одной дорогой?

— Более или менее... — сказал Гартман. — Все на восток.

— Значит, и мне ничего не остается, как держаться этого направления... — сказал князь. — Скажите, г. Гренберг, вы близко видели их?

— Совсем близко.

— А не заметили ли вы среди пленниц высокой, очень красивой девушки с чудными золотистыми волосами? Зовут ее Ирмагд...

— О, да!... — воскликнул Гренберг, странно взглянув на князя. — Не заметить ее было нельзя. Я не знаю, была ли это та, которую вы ищете, но она была прекрасна... Какое странное совпадение!... — подумал он.

Вдали послышалось три четких выстрела.

— Ого!... заметил Войницкий. — Опять сигнал...

— Да. И надо торопиться... — сказал полковник, вставая. — Это нас вызывают на сборный пункт, князь. Не желаете ли присоединиться?

— Мне не хочется опаздывать, — отвечал князь. — Я боюсь потерять след.

— Ну, так простимся ... — сказал Гартман, протягивая руку. — Едва ли когда еще свидимся...

— Желаю вам успеха в борьбе... — сердечно сказал князь. — Не будем падать духом.

— Разве мне пойти с князем? — задумчиво проговорил Гренберг.

Гартман сурово посмотрел на него.

— Вы не имеете права... — сказал он. — Вы обязаны испросить разрешения начальника отряда и вы связаны словом. Разрешит, вы догоните князя...

Гренберг скучливо пожал плечами и все, еще раз простившись с князем и захватив лошадей, быстро вышли. Князь рассеянно поднял с земли валявшуюся около костра книгу в великолепном переплете и наудачу раскрыл ее.

— Ба!... — пробормотал он. — Фауст... — и с чувством вполголоса он прочел:

Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne
Und von der Erde jede schöne Lust,
Und alle Näh' und alle Ferne
Befriedigt nicht die tief bewegte Brust!*

* Слегка искаж. цит. из «Фауста» Гете: «У неба лучших звезд он требовать дерзает / И недоступного блаженства у земли... / Но все, что близко, что вдали — / Его измученной души не утоляет» (пер. Д. Мережковского).

— Боже, как все это далеко, далеко... — задумчиво про-
бормотал он и, поцеловав книгу, хотел была поставить ее
на полку, но подумал мгновение и положил ее в карман. —
Да,

Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne...

На улице раздался вдруг дикий хохот. Князь с винтов-
кой в руках осторожно выглянул в пробоину: по пустын-
ной улице бегал, беспорядочно размахивая руками, высо-
кий, худой, как скелет сумасшедший в лохмотьях. Подбежав
к трупам калмыков, он лихорадочно обыскал их и, ничего
не найдя, выпрямился, погрозил кулаком в небо и снова
страшно захохотал.



V.

СОН ПОЭТА

Усталый я взволнованный, князь шел старинным парком. Вот старые великаны-деревья расступились и он очутился на широкой лужайке: пред ним в сиянии вешнего вечера стоял его обгорелый дворец, в котором жили многие поколения его предков, в котором он родился и провел все свое детство. Стекла были почти все выбиты. На ступенях широкой красивой лестницы, спускающейся в парк, белели два скелета, взрослого и ребенка. За дворцом, между массивными стволами деревьев, тихо светился широкий, весь заросший пруд с белой беседкой на островке. Хоры соловьев и лягушек восторженно приветствовали встававшую из-за пустыни лесов луну, огромную и красную, и из густо разросшихся кустов сирени и жасмина с мягко насмешливой улыбкой на умном лице смотрел на князя старый каменный сатир.

— Вот я и дома!... — тихо, с грустью проговорил князь. — А, вот и сатир, мой старый приятель...

Он тихонько поднялся по лестнице, постоял несколько мгновений над скелетами, взволнованно пытаясь угадать, кто это был, и, подойдя к дому, заглянул в его жутко зиявшие окна.

— Нет, что-то жутко... — пробормотал он. — Отложим осмотр лучше до завтра. Выспаться можно и в саду.

Он подошел к большой, засыпанной опавшими листьями, каменной скамье, стоявшей против сатира, набросал на нее еще листьев, положил в голову дорожный мешок и, поставив рядом винтовку, лег и накрылся потрепанным плащом.

— А тут ведь я родился, тут вырос ... — устало подумал он. — И когда-то дом этот горел веселыми огнями, и гремела тут музыка, и прелестные женщины ходили и смеялись под сводами этих великанов. И раз, таким же вот ду-

шистым тихим вечером, пела тут чернокудрая волшебница Нелька... Как это она пела?..

И тихо, неуверенно, вспоминая, он пропел:

«...Как звук отдаленной свирели,
Как моря играющий вал...»*

— Нет, забыл... — пробормотал он сонно. — Забыл...

Тихое сияние месяца. Восторженные хоры соловьев и лягушек. Тихая, прозрачная печаль о былом... То там, то сям загораются и потухают бледные блуждающие огоньки. Над засеребренным прудом, сплетаясь и расплетаясь, проносятся хоровод светло-лунных русалок. И беззвучно кружатся ночные бабочки...

И сон окутал его своей мягкой паутиной...

Старый сатир вдруг потянулся, громко зевнул и осмотрелся по сторонам.

— Ну, у нас, кажется, слава Богу, все по-старому... И прекрасно... — проговорил он. — Ага, нет, вот гость какой-то... Ба, да это мой старый приятель, князь Глеб!.. Привет, князь!.. Давненько я не видал тебя... Ты очень возмужал...

— А ты еще больше постарел, друг мой... — приподнявшись, с улыбкой отвечал князь. — Вон одно ухо стало уже крошиться...

— Что делать... — пожал сатир мшистыми плечами. — Время не все красит... Ну, как живем?

— Живем довольно оригинально... — отвечал князь. — Да ты, стоя тут, в глуши, знаешь ли, по крайней мере, что делается на свете?

— Более или менее, друг мой... — отвечал старик добродушно. — И птицы приносят вести отовсюду, а изредка заходят и люди. Ну, что же, ты, по крайней мере, должен быть доволен...

— Я? — удивился князь. — Это почему?

* Искаженная цит. из стихотворения А. К. Толстого «Средь шумного бала, случайно...», положенного на музыку П. Чайковским и ставшего известнейшим романсом.

— Как почему? — воскликнул сатир. — А разве ты забыл, как на этой вот самой скамье, еще маленьким мальчиком ты со сладкой жутью в душе мечтал о том, что вот произойдет в мире что-то сверхъестественное и ты останешься на земле совершенно один?

— А, да, помню... — улыбнулся князь. — Меня уже в детстве теснили люди как-то и я, действительно, любил уйти от них, хотя бы в мечтах о пустынях, о тихой, дикой и зеленой земле...

— Егго: ты должен быть доволен.

— Не... совсем, друг мой... Во-первых, прелюдия к этому одиночеству оказалась довольно тяжелой, а во-вторых...

— Что же ты замылся? — засмеялся сатир. — Впрочем, и в юных мечтах твоих ты иногда хотел быть лучше вдвоем... Что?.. — он снова, грозя пальцем, засмеялся и пропел:

«...Как звук отдаленной свирели,
Как моря играющий вал...»

— Так, кажется? — лукаво спросил он. — Ну, а стихи все пишешь?

— Изредка... — смутившись, отвечал князь.

— И прекрасно делаешь... — сказал сатир. — Люблю красиво отточенный стих!.. А у меня здесь сегодня маленькая вечеринка, — надеюсь, ты не откажешься принять в ней участие. Побеседуем, потанцуем... Идет?

— Очень рад, друг мой... — сказал князь.

— Прошу пожаловать, дорогие гости... — захлопав в ладоши, крикнул сатир. — Пожалуйте...

Из глубины парка под звуки тихой, немного печальной музыки выходят пещерные люди в звериных шкурах и с огромными дубинами в руках, ассирийцы с гофренными бородами, евреи с Моисеем, фараоны, Будда со своими учениками, скифы, вакханки, Сократ, Фрина и Аспазия, персы, Александр Македонский, Юлий Цезарь со своими легионерами, Клеопатра, Пилат и апостолы, огнепоклонники, Атилла с гуннами, византийский царь со своим пышным двором, монахи, отшельники, викинги, славяне с берегов Волхова

и Днепра, рыцари, Христофор Колумб, краснокожие, Магомет, сарацины, папы, негры, флорентийские художники, Ян Гус в своем колпаке, Шекспир, блестящий двор французских королей, Петр Великий, запорожцы, Робеспьер, Марат, Дантон, Наполеон, Гёте, Шиллер, Кант, Бетховен, Моцарт, Бисмарк и германская гвардия, демагог с шевелюрой и красным бантом, танцовщицы, голодные индусы, Толстой, летчики, японцы... — вся пестрая история человечества... Гости входили, раскланивались с сатиром и рассаживались всюду, где только было можно: на лестнице дворца, на окнах, на крыше, между деревьями, по газонам.

— Пожалуйте, пожалуйста, дорогие гости... — говорил старый сатир. — Давно не видались мы с вами, господа... Позвольте, однако, представить вам князя Глеба, — большой поэт и уже по этому одному мой сердечный друг... Мы истари владеем вместе с ним этим прекрасным кусочком земли...

— Что же тут прекрасного? — сказала Фрина, поеживаясь. — Прежде всего тут невыносимо холодно. Разве можно сравнить этот угрюмый край с благословенными берегами нашей светлой Эллады? Ты, кажется, совсем забыл их, милый друг?...

— Нет... — отвечал сатир. — Но я философ и умею радоваться всему на свете...

— Не надо радоваться ничему на свете... — угасшим голосом проговорил старенький фивайдский отшельник. — Ибо все прах и тлен и сети дьявола...

— Какие странные речи!... — заметил дряхлый и добренький апостол Иоанн.

— Да ведь это он излагает вкратце учение вашего общего Учителя... — сказал сатир с улыбкой.

— Никогда ничего подобного Он не говорил!.. — воскликнул апостол. — На пиру в Кане Галилейской Он претворил не вино в воду, но воду в вино на радость пировавшим... Он хотел всю жизнь человека превратить в светлый океан блаженной радости, а такой странной ненависти к жизни мы и не подозревали...

— Конечно, старец преувеличивает, — сказал гуссит, которого некогда во славу Господню сожгли на костре. — Но тем не менее для спасения души очень важно, принимаем ли мы причастие *sub utraque*, как справедливо учили мы, или *sub una**, как превратно учил папа.

— Еретик!.. — крикнул папа, ударив посохом о землю. — Мало вас, видно, жгли . . .

— Ты сам еретик!.. — сердито прокричал греческий монах.

— Как они однако вульгарны, эти новые люди!.. — сказал, пожав плечами, Сократ .

— Ну, дед, и тебя окружали ведь не одни Платоны... — расхохотался сатир. — Разве ты забыл о тех, которые угостили тебя цикутой?

— Я, человек, кажется, достаточно образованный... — заметил Юлий Цезарь. — Я сам написал труд, который в течение долгих веков с полным уважением цитируют историки, но эта вражда из-за слов утомляет меня. И я жалею, что Рок не дал закончить великому Риму свое дело; завоевать весь мир и, даровав ему вечный мир, всемилостивейше повелеть всем трудиться и радоваться под защитой мудрых законов наших ...

— Хороша мудрость!.. — засмеялся весь залитый тяжелым золотом византийский царь. — Вы коснели во тьме язычества...

— Да ты сам схизматик!.. — крикнул папа.

— Вы все, господа, принимали жизнь слишком *au tragique*... — примирительно сказал Король-Солнце. — *Il faut s'amuser un peu, que diable!*** Как это ты пела свою песенку, Манон?

— Твою любимую? — с лукавой усмешкой спросила престелная Манон. — Ну, слушай...

* Под обоими... под одним (*лат.*). Гуситы требовали права причащения верующих «под обоими видами» (хлебом и вином), что являлось привилегией духовенства.

** Трагически ... Мы должны немного развлечься, черт побери! (*фр.*).

L'amour est une belle chose.
Qui nous cause
Bien d'agréments!..

— Прелестно... — с улыбкой одобрил Король-Солнце. — Прелестно... Et puis?

— On perd la tete, — продолжала Манон, —

On devient bete, —
Oh, que c'est charmant!*

— Браво, браво!.. — крикнул сатир. — Прелестно!..

— Брависсимо!.. — восторженно кричали флорентийцы.

— Какое легкомыслие!.. — сказал буддист. — Мы должны убить в себе всякое желание, — только этим путем спасем мы себя от жизни-страдания...

— Так зачем же жить тогда? — расхохотались флорентийцы. — Вот глупость... Да здравствуют женщины, вино, солнце, искусство!..

— Браво, браво».. — восторженно крикнула Манон.

— Жизнь только в одном: в искании истины... — сказал профессор Шульц со своим чемоданчиком.

— А что есть истина ? — развел руками Пилат. — Я две тысячи лет уже жду ответа на этот свой знаменитый вопрос, а его все нет.

— Истина? — переспросил Робеспьер. — Истина в трех словах: Свобода, Равенство, Братство...

— Ou la mort!..** — насмешливо добавил казненный красными аристократ.

— Как вам не стыдно повторять эти пошлости. Робеспьер!.. — крикнул демагог с бантом. — Только своевременно объявленная диктатура пролетариата могла бы спасти гнилой мир...

* «Любовь прекрасна и дарует нам премного наслаждений»... А дальше? ... «И вот мы теряем голову ... И человек делается зверем, — как очаровательно!» (фр.).

** Или смерть! (фр.).

— А правда, что за эти речи вы получили хорошенькое вознаграждение? — спросил почтенный буржуа с кругленьким брюшком.

— Милые гости... — примирительно сказал сатир. — Давайте прежде всего беседовать, как порядочные люди. Не вабывайте, мы уже в царстве теней и ссориться нам не из-за чего...

— Но он все же вульгарен, этот санкюлот с бантом... — презрительно процедил Наполеон. — Из французской революции встал прежде всего я, великий император, славой оружия моего я наполнил весь мир и...

— ... попал на остров св. Елены... — заметил в сторону Бисмарк.

— И вы, Наполеон, и вы, князь, были большими злодеями... — сказал Лев Толстой. — Вы обагрили кровью людской всю землю, вы нарушили основной закон жизни, закон любви ко всему живому, — не только к людям, но и... тае... тае... к букашке всякой, ко всякой былинке...

— Насчет букашек я не мастер, — загрохотал толстый запорожец с висячими усами. — А вот прекрасных полек в старину я любил, это верно... Мы поддевали панов на наши длинные пики и целовали их жен и дочек... Ха-ха-ха...

— А мы вот всю жизнь только и мечтали, что о чашечке риса... — проговорили изможденные индусы. — И того у нас не было. И мы безропотно умерли ...

— Дурачье!.. — засмеялся презрительно демагог.

— Ничего в жизни не знаю я выше священного опьянения битвы во славу Пророка... — сказал сарацин.

— Это прекрасно, но безумием было сжигать александрийскую библиотеку... — наставительно заметил Гёте.

— Разумеется, — согласился Шиллер. — Но какую поэму можно все же написать на тему: «Пожар александрийской библиотеки!..»

— Превосходно!.. — захохотал сатир. — Ты прав, поэт: не только александрийскую библиотеку, весь мир можно зажечь ради красивой, звучной поэмы... Впрочем, это, кажется, плагиат, — Нерон сказал что-то в этом роде раньше меня...

— Никогда не мог я понять этого переливания из пустого в порожнее... — заметил Атилла. — Вот власть — да.

— Власть хороша, лишь как могучее средство сокрушать отжившее и воздвигать новое... — сказал Петр Великий.

— Антихрист!.. — злобно крикнул бородатый старообрядец.

— Воздвигать новое, которое скоро станет старым, — суета сует и праздное томление духа... — сказал печально лысенький Экклезиаст.

— Но сколько слов, сколько слов!.. — пожимаясь, сказала Фрина. — А я мерзну...

— Это беда поправимая... — заметил сатир. — Эй вина!.. Живо!.. И нашего старого доброго вина с Хиоса...

Отовсюду высыпали вакханки и сатиры с большими амфорами вина и со смехом и шутками стали обносить гостей, — только моралисты пренебрежительно отстраняли от себя благоухающие кубки.

— Наша вечеринка приобрела, друзья мои, несколько кислый характер, хотя, правда, и не лишенный некоторого интереса... — приняв чашу, сказал сатир. — Довольно споров из-за слов, будем веселиться!.. Но и вино, друзья мои, не вино, если оно не приправлено солью остроумия... И вот я поднимаю свой кубок и пью за всех: за эллинов и за иудеев, за дерзких еретиков и за добрых католиков, которые жарили их, за александрийцев, собравших свою библиотеку, и за прекрасных воинов, которые спалили ее, за святых отшельников и за вакханок... Пью за все, пью за всех, ибо все вы — тона одной картины, звуки одной поэмы, артисты одной прекрасной драмы. Итак, за все и за всех!.. — провозгласил он и осушил среди кликов гостей чашу до дна. — О, и вино!.. Еще!.. Так, благодарю! — сказал он хорошенькой вакханке, которая налила ему вина, и, смеясь, уцепил ее за плечо. — Главное в жизни это непосредственная радость, друзья мои... — сказал он и, снова подняв чашу, продолжал: — И посему да возрадуется всякий живущий радостью всякой!.. Возрадуемся же и мы этой чашей благовонного вина с далекого Хиоса, прекрасными взорами наших красавиц, этой вешнею душистою ночью, возрадуемся чисто-

му смеху ребенка, возрадуемся благоуханию ландыша, возрадуемся, читая прекрасные речи добряка Сократа, хотя и нет в них, конечно, ничего, кроме сладкого обмана, возрадуемся золотыми облаками, играющими в лучах восхода, когда поет вдали свирель пастуха, возрадуемся священным восторгом сгорающего на костре праведника, возрадуемся пьяною удалью битв, возрадуемся в сладкой молитве!.. Но, принимая эти дары от жизни с благодарностью, берегитесь, друзья мои, злоупотребить ими, ибо это удел вульгарного!.. Вы же будьте мудры и знайте, когда довольно, дабы жизнь ваша была подобна драгоценным бусам или золотой чаше, полной до краев драгоценными камнями... Пью за всяческую радость жизни!.. — воскликнул он и снова опорожнил чашу.

Вакханки, сатиры, флорентийпы, дикари, греки, куртизанки, воины окружили его с веселыми криками, забрасывая его весенними цветами. Вакханки карабкались на его пьедестал, чтобы обнять его. Одна из них увенчала его голову венком из золотого первоцвета.

— Вина!.. — крикнул он.

— Итак, из речи твоей выходит, что истины нет... — сказал софист, завитой и самодовольный.

— Как ты проникателен!.. — усмехнулся сатир.

— Значит, и то, что ты проповедуешь, не истина, но ложь... — все так же самодовольно заключил софист.

— Это только софизм дурного тона, друг мой... — помолчав, сказал сатир. — Это то опасное злоупотребление дарами жизни, о котором я только что говорил, — в данном случае, злоупотребление мыслью, словом. Беседа не должна быть пустым препирательством, но радостью для всех. Впрочем... — вдруг с удивлением прервал он себя и захохотал. — Что же это я вам проповедую все? Ведь вы же только тени, обманутые тени, которые проспали жизнь, — все, все, все, ибо каждый из вас признавал центром земли только себя, а мудрость и радость только во всем... Ну, милый князь, так хоть ты воспользуйся этой мудростью моей, найденною на дне выпитого кубка жизни... Что ты все печалишься? Не жалеешь, друг, о том, что от тебя не зависит... Ну, постой,

мы развеселим тебя... Эй, еще вина в кубки и давайте плясать и веселиться, ибо до зари уже недалеко... Живо!.. Ну, начинайте!..

Под дикий грохот мечей и копий о щиты выступили вперед гунны и другие воители, но не успели они кончить своей воинственной пляски, как под страстные звуки музыки понеслись среди них пьянящими, огневыми вихрями вакханки и сатиры. Не выдержали казацкие сердца запорожцев и, притопывая серебряными подковами, пустились усачи впрысядку. Король-Солнце, вспоминая былое, наладил церемонную и нежную французскую кадрили, и страстными змеиными извивами оплели пудренных кавалеров и дам цветистые гирлянды гибких баядерок. Наконец, не выдержали даже и философы: строгие и чинные, с толстыми фолиантами подмышкой, они выступили вперед и, обмениваясь торжественными поклонами, начали не то танец, не то священнодействие. Но все внимание огромной и пестрой толпы сосредоточилось уже на Фрине. Вся обнаженная, с венком из роз на голове и кубком вина в руках, вся огонь, вся опьянение, она иступленно плясала среди точно окаменевших в восторге гостей. И вот, пьянея, они начали притопывать, прихлопывать, приплясывать...

— А ведь хорошо!.. — говорил монах, румяный и толстый. — Ей Богу, хорошо... Святой отец, ведь замечательно! А?

Цезарь Борджиа, смеясь, издали погрозил ему посохом.

Фрина плясала среди все растущего восторга. И вот гости, наконец, не выдержали и, составив огромный хоровод, начали, приплясывая, кружиться вокруг хохочущего сатира, — папы, казаки, моралисты, короли, воины, философы, вакханки, — все народы, все века. Сатир пьет, кричит что-то, хохочет... Разбившись на мелкие хороводы, гости с пляской несутся в темный парк по всем направлениям.

— Э-э, ты все невесел, мой князь!.. — крикнул сатир. — Плох же я хозяин, что не могу разогнать печали моего дорогого гостя... Ну, постой, есть еще у меня одно, уже последнее средство... — сказал он и захлопал в ладоши.

Под тихую музыку в опустевшем парке вдруг появилась в сиянии зари, точно над землей, Ирмагд с улыбкой любви на лице и призывно протянутыми к князю руками.

— Ирмагд!... — бросившись к ней, восторженно крикнул князь и замер, не веря себе.

— Ха-ха-ха!... — захохотал сатир и запел: — «Вот смысл философии всей...» Ха-ха-ха!...

Князь протер глаза. В парке — никого. Старый сатир окаменел в своей тихо-насмешливой улыбке. Светало...

— Какой яркий и красивый сон!... — с тоской подумал князь и вдруг, пораженный, вскочил: на том месте, где только что сияло видение Ирмагд, стояла теперь уже сама Ирмагд, истомленная, в сильно изношенной одежде, но прекрасная как всегда.

— Ирмагд!... — не веря себе, крикнул князь.

— Глеб! ... — с рыданьем счастья бросилась она к нему.

— Да это ты, Ирмагд? — лаская и целуя ее, твердил князь, как сумасшедший. — Это ты? Живая? Настоящая? Нет, я себе не верю!... Ирмагд...

— Боже мой... Какое это невероятное счастье!... — твердила девушка, судорожно обнимая его.

— Но откуда же ты взялась? Ведь ты была там, под конвоем...

— Как ты это знаешь? Но сядем, я так устала...

Они сели на каменную скамью.

— Я шел за вами по пятам с самого того проклятого вечера, как я потерял тебя на привале под Парижем... — сказал князь.

— О, милый!... — прильнула она к нему. — Да, я была с ними и мучилась нестерпимо, — не столько от голода, холода, усталости, сколько от тоски по тебе. Ведь, я думала, что я потеряла тебя навсегда... Мы шли, шли, шли, — неизвестно куда... И вот вдруг среди нас вспыхнула чума. Все — и мы, и они, — полные невыносимого ужаса пред этой молниеносной и безобразной смертью, бросились врассыпную, кто куда. Четыре дня скиталась я пустынными лесами и степями, — ни одного человеческого лица... Только дикие звери рыщут и воют по ночам. И вот вчера иду я, сама не

зная куда, и смотрю: стоит на перекрестке дорог столб, на нем черная рука, указывающая в леса, и какая-то надпись. От своих русских подруг я уже выучилась в пути немного по-русски — учась твоему языку, я думала о тебе, мой милый...

— Ну, ну, ну... — прижимая ее к себе, говорил князь.

— Ну, вот... — продолжала она. — Стою я пред столбом этим среди полного безлюдья земли и буква за буквой разбираю непонятные слова...

— Там написано: «дорога в усадьбу князя Глеба Суздальского».

— Да, но ведь слов-то я не понимаю... — сказала Ирмгард. — И только в двух последних слышу я знакомые звуки: Глеб Суздальский... Глеб Суздальский... И странное волнение охватывает меня: как, этот немой столб среди дикой, безлюдной пустыни говорит мне о тебе, эта черная рука зовет меня к любимому? Что это: чудо, сон? И я, вся охваченная трепетом, чуть засветилась над степями зорька, пошла и... и... — снова, рыдая от счастья, она бросилась ему на шею.

— Радость моя... Счастье мое!... Ведь это прямо сказка... — говорил он и вдруг спохватился: — Боже мой, да ты ведь голодна!... Подожди, мы сейчас будем завтракать. У меня есть кусок телятины — я застрелил вчера одного теленка из одичавшего стада... Есть пресные лепешки, правда, черствые... Мы сейчас разведем огонь — у меня даже спички есть, в развалинах Киева нашел...

— И это все достояние твое, милый?... — указывая на его котомку, сказала Ирмгард.

— Да. Но теперь нам, в сущности, принадлежит чуть не весь земной шар... — отвечал князь. — На сотни верст нет ведь ни одного живого человека...

— Вдвоем на целой земле... — изумленно проговорила девушка. — Какой-то волшебный сон...

— Да, но ты, ты теперь со мной и больше мне ничего не надо... — воскликнул князь. — Ну, однако, давай готовить завтрак...

— Да я совсем не голодна... — сказала Ирмгард. — Я ела по пути орехи...

— Нет, нет, ты должна подкрепиться, милая... — сказал он, разбирая сумку и вынимая разные предметы на скамью. — Вот я сейчас...

— А, и книга!... — воскликнула Ирмагд.

— Да, это Библия... — сказал князь. — Она моему прадеду еще служила. Был еще томик Гёте, но была холодная, непогожая ночь, одолевали волки, а сырые дрова не горели и он пошел на растопку. И странное совпадение: только вчера читал я «Песнь песней» и думал о тебе. Ты помнишь: «цветы распустились в горах и заворковали вновь горлинки, — что же не идет она, моя возлюбленная?..»*

И он бросился к ее ногам и целовал ее платье, руки, колени.

— О, Глеб... — лепетала она. — О, мой милый...

Яркий луч солнца, пробившись сквозь листву, озаряет вдруг лицо сатира. И, кажется, что он тихонько смеется...



* Парафраз Песн. 2:11-12.

VI.

НА ЗЕМЛЕ СНОВА ТЕСНО...

Прошло пять лет и снова пышно зацвела весна на опустевшей земле. Был вечер. Тихо вздыхало под скалами лазурное южное море. Среди кипарисов, магнолий, олеандров и лавров затаился небольшой, изящный, весь заплетенный цветущей глицинией, но немного уже запущенный дом. На лестнице, ведущей на террасу, сидит с шитьем Ирмагд, сильно опустившаяся, рабочая, но прекрасная. Несколько ниже, как бы у ног ее, — Арвид Гренберг.

— Дети легли уже спать, а Глеба все нет... — тихо сказала Ирмагд.

— Очень уж рассердился он на этого бедного медведя... — усмехнулся Гренберг.

— Еще бы!.. Вокруг тысячи десятин брошенных садов и виноградников, а ему надо портить именно наш... — сказала Ирмагд. — Когда переселились мы сюда с неприветливого севера, где так трудно было жить, мы с такими усилиями расчистили его... Это вы птица небесная, а у нас дети... — вздохнула она и после небольшого молчания проговорила: — Ну, расскажите мне еще что-нибудь из ваших скитаний...

— Хорошо, только бросьте шитье... Уже темнеет и вы испортите глаза... — сказал Гренберг. — Я рассказывал уже вам, что на зиму я остался в литовских лесах, в одной деревушке, где единственным живым человеком была кривая, выжившая от страха из ума старуха. Она страшно цеплялась за меня, чтобы я как не ушел, но как только наступила весна и земля немножко обсохла, я ночью, украдкой ушел из деревни, — мне так хотелось повидать Швецию, родину... И вот раз, в пути, в глухой, безлюдной пустыне, подошел я к крошечной, полуразбитой станцийке и — вдруг слышу: щелкает телеграфный аппарат! Я бросился к нему и — замер в тоске: вот где-то сидит чудом уцелевший

человек и по единственному, чудом уцелевшему проводу пытается дать знать о своем существовании, — никому в особенности, а так, в пространство, в пустоту мира, и трепетно ждет ответа, и никто не отвечает ему... А я вот слушаю его призыв, его тоску, его ужас и не знаю, как и куда ответить ему, не знаю, где он: близко, далеко, на север, на юг, на восток... Это было так тяжело, что я заскрипел зубами и бросился вон. Но долго еще слышал я сзади это тоскливое сухое: трак... так-так... трак...

— Извините, я перебиваю вас... — сказала Ирмгард. — Вы напоили корову? А то мне скоро доить...

— Напоил... — отвечал Гренберг. — Потом удивительные моменты пережил я в развалинах Петрограда, куда я попал уже в середине лета. Вы знаете эти наши северные «белые» ночи? Нет? О, это удивительные ночи, полные неизъяснимой прелести и светлой, необыкновенной, безбрежной тоски... И вот я ходил по пустынным, закованным в гранит набережным среди опустевших дворцов, и спали на светлом рейде, тихо разрушаясь, черные, мертвые суда и... я плакал, — о чем, не знаю, но не о том, о чем плакал я в молодости в такие вот белые ночи. И я вошел в один из дворцов и, увидав пыльный рояль, подсел к нему и стал играть «Белые Ночи» Чайковского. А вокруг мертвый, когда-то великий город, черные суда на светлом рейде и эта тоска, безмерная, все затопляющая, нежная тоска белой ночи...

— А в Стокгольм вы так и не попали? — после молчания спросила Ирмгард.

— Нет, — отвечал он. — Уже за Петроградом встретил я около Саймы в лесах одного шведа, который сказал мне, что и Швеция такая же пустыня. Он тоже обошел немало места и везде, по его словам, было одно и то же: там, где раньше были миллионы людей, теперь жили лишь единицы, разбросанные на необозримые пространства, не имеющие никаких средств ни найти друг друга, ни даже просто дать о себе знать один другому. Никто не знает, что происходит не только в Индии, в Соединенных Штатах, например, но даже в Италии, в Париже, в Москве, там, что раньше называлось рядом. Были слухи, что чрез Берингов про-

лив азиаты проникли и в Америку, но что произошло там потом, никто ничего не знает: такая же там пустыня, как и здесь, или живут там люди прежней жизнью. Никто ничего не знает... Некоторые, как и вы вот, уже успели приручить несколько лошадей и коров... И живут, трудятся, дрожат от страха пред непривычным... Да, кстати: я все хочу изловить для вас несколько кур — их много тут по зарослям. Это будет вам большим подспорьем в хозяйстве...

— Глеб не раз пытался ловить их живьем, но никак не мог... — сказала Ирмгард. — Ужасно дикие стали они... — и, помолчав, она задумчиво прибавила: — Да, десять лет назад или еще раньше как все это показалось бы странным, невозможным и страшным, а ведь вот привыкли, живем, даже иногда радуемся...

— Только иногда? — спросил Гренберг.

— Конечно, только иногда... — отвечала она. — Жить стало так трудно. Всему надо учиться с азав: шить, мыть, доить, сажать, ловить рыбу, рубить дрова... А дети! Ведь вот растут, — как их учить? чему? для чего?... Ведь не о Капетингах же и Меровингах рассказывать им теперь! Пред всеми нами широкая, бездорожная степь теперь, — иди, куда хочешь, но куда идти, неизвестно. Трудно оказалось жить без торных дорог, о, как трудно!... Сперва было счастье разделенной любви, но... но эти весны очень скоро отцветают... Теперь мы даже ссоримся и так, что не хотим видеть один другого целыми днями, — раньше, на людях, этого не было... Ну, а вы в ваших скитаньях как? Покойны? Счастливы?

— Трудно в двух словах ответить на этот вопрос, — тихо отвечал Гренберг. — Видите ли, раньше я принадлежал к самым дерзким реформаторам: я был анархистом. И вот мечта моя теперь, в сущности, осуществилась: люди живут теперь как раз так, как мы того хотели: все равно трудятся, нет ни правительств, ни войн, ни тюрем, ни денег, ни угнетения... И вот в теории ожидалось, что это будет что-то совсем новое, ослепительное, а ничего ослепительного не получилось: все то же серенькое, запуганное, животное существование... Какие просторы открылись пред человеком: кажется, выбирай себе любое место и живи. Так нет,

— уже теперь люди снова полезли в хомуты, уже появились снова хозяева и слуги. Свободы, независимости огромное большинство людей боится больше всего на свете и ничего так не желает, как избавиться от своей воли и дать управлять собою... Вот и приходится пересматривать все, во что раньше так горячо верилось, хотя, конечно, на что он теперь нужен, этот пересмотр?.. И смутно, и печально на душе, как в развалинах. А потом стало и еще печальнее, — после того, как я увидел вас впервые, там, в развалинах Берлина, из засады... Ах, зачем нужна была эта встреча?...

— Я сказала уже вам, что я ничего не хочу слышать об этом... — решительно сказала Ирмгард, слегка краснея. — Я не хочу слушать этого... не должна... у меня дети, муж... И, если вы хотите быть моим другом, то... не тревожьте мой покой... Хорошо? Да? — мягче проговорила она, протягивая ему руку.

— Что же мне остается? Разумеется, да! — печально проговорил Гренберг. — Но я не могу, не могу не любить вас!... — горячо вырвалось у него. — И мысль, что вы принадлежите другому... нет, нет, не буду... — заметив ее движение протеста и целуя ее руку, сказал он.

Из зарослей с ружьем и убитой косулей за плечами вышел Глеб. Он увидел этот долгий поцелуй, на мгновение точно замер на месте, а потом вошел в сад. Ирмгард, покраснев, торопливо отдернула руку.

— А-а, Глеб... — смущенно проговорила она. — Как ты долго!... И с добычей?...

— Да... — сухо отвечал он. — А дети?

— Спят... — отвечала жена.

— А корову подоила? — спросил он.

— Нет еще. Сейчас иду...

— Почему же? — с неудовольствием сказал князь. — Уже поздно. Для коровы это вредно. Нельзя же все разговоры разговаривать!...

— Я сейчас иду... — вставая, проговорила она. — А потом будем ужинать.

И она торопливо ушла в дом.

Сумерки быстро сгущались. Из-за гор поднялась луна. Маленькие совы начали переключку в горах своими прозрачными, похожими на флейту голосами: сплю... сплю... сплю... И завели светляки свои сверкающие карусели.

Обоих тяготило неприятное молчание. И не было сил заговорить.

— Ну, как дела с вашим медведем? — проговорил, наконец, Гренберг.

— Никакого медведя нет... — сумрачно отозвался князь. — Мне просто тяжело быть дома... с тех пор, как... вы вторглись в мою жизнь...

— Хотите, будем говорить до конца, как мужчины? — помолчав, сказал Гренберг.

— Нам не о чем говорить... Вам просто надо уйти... — сурово отвечал Глеб и, вздрогнув, уронил: — Если бы вы знали, как я вас возненавидел!

— Уйти?... — пожал тот плечами. — Это слишком просто... Солнечный свет принадлежит не одному вам...

— Довольно красивых слов!... — с бешенством воскликнул князь. — Дело идет не о солнце, а о семье... о детях...

— Если нам на земле вдвоем тесно, то пусть сама Ирмгард решит, кому из нас отсюда уйти... — тоже начиная раздражаться, сказал Гренберг.

— Как смеее вы называть ее так? — бешено крикнул Глеб, задыхаясь. — Нет, и какова уверенность!... Он думает, что «выберут» непременно его...

— Я этого не знаю... — сказал швед. — Но я иду на все.

— Да вы не имеете права идти ни на что!... Вы здесь гость — я указываю вам на дверь, вот и все... Я здесь у себя дома, а вы — чужой...

— А у вас какое же право? — усмехнулся Гренберг. — Ну, раньше был брак, освященный там церковью, скрепленный так называемым законом, — во всем этом было много натяжки и условностей, но все же это было довольно общепринято. А теперь, у вас? Что это, право первого оккупанта, что ли? Надеюсь, вы достаточно умны и культурны...

— Доказывать вам свое право я не собираюсь!... — резко перебил его Глеб. — Я просто заявляю вам о нем. И доволь-

но болтовни!... Иначе...

— А я вашего права не признаю... — так же резко отозвался Гренберг. — И заявляю вам о праве женщины свободно располагать собой. А что касается до ваших угроз, то я достаточно силен, чтобы не бояться их... — закончил он, опуская руку в карман.

— Что у вас там? Револьвер? — живо спросил Глеб. — Превосходно... Мы можем быстро закончить наш разговор — только не здесь, не около детей. Идем к морю... О, как я вас ненавижу, — никогда в моей жизни никого не ненавидел я так!... Идем...

— Если иного способа решить вопрос нет, идем... — холодно сказал Гренберг. — Но... как же мы будем...

— Бросим жребий, кому стрелять первому... — сказал Глеб. — Но на коротке и — до развязки.

— Идем...

Хрустя галькой, они торопливо ушли к берегу. Все стихло — только совы перекликались все в лунной тишине да вели свои огневые хороводы светляки.

— Глеб, а куда ты положил... — начала было, выходя на террасу, Ирмгард. — Где же они? Глеб...

Никто не отозвался. Темная тревога, непонятно, почему, охватила вдруг ее душу... И вдруг у моря стукнул выстрел. Сердце ее забилося еще тревожнее... Она торопливо пошла в дом, точно спасаясь от чего-то страшного, что гналось за ней по пятам.

В лунной тишине стукнул еще выстрел, а потом сразу два. И все стихло — только шелковые вздохи моря слышались на песке... Из-за черных кипарисов вышла темная тень и остановилась э глубокой задумчивости.

Ирмгард, не находя себе места от странной, непонятной тревоги, снова вышла на террасу и увидала неподвижную тень.

— Это ты, Глеб? — тревожно окликнула она. — А где же...

— Не смей произносить больше этого имени!... — крикнул Глеб в бешенстве. — Он там, откуда не возвращаются... Довольно!

— Ты... его... убил? — в ужасе прошептала она, торопливо подходя к мужу. — Убил?!..

— Я сказал: довольно!... — бешено топнул он ногой.

— О, как ненавижу я тебя!... — заламывая руки и рыдая, крикнула Ирмагд. — Убийца, убийца, убийца!...



VII.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА

Ясный осенний день. На крутой скале, над беспредельной ширью моря, белая старинная колоннада полукругом. В стороне — чья-то могила, убранная цветами. На лужайке, перед колоннадой, небольшая, человек в тридцать толпа, скудно одетая, одичавшая. Все при оружии. Тут два низкорослых грека, татарин, старенький турок, турчанка с закрытым лицом, Эдвард, высокий и стройный англичанин с трубочкой, маленький и изящный, как игрушка, японец, пожилой и жирный итальянец и проч. Немножко в стороне стоит постаревшая и скорбная Ирмагд, ее дочь Маруся, хорошенькая девочка лет пятнадцати, и реб Лейзер, старый еврей.

Поседевший, в белой, некрашеной, грубоватой одежде Глеб оглядел собравшихся и сказал:

— Кажется, все уже собрались... Может быть, начнем?

— Конечно... — раздался голоса. — Просим.

Глеб поднялся по ступенькам к колоннам и обратился к присутствующим:

— Друзья мои, мы собрались сегодня по очень важному делу, — приступим же к нему с открытой и согретой душой... Когда несколько лет тому назад над человечеством разразилась эта страшная катастрофа, в кровавых пучинах ее погибли все завоевания человека, вся наша тысячелетняя культура и — религия... Все наши храмы разрушены и некому обслуживать немногие уцелевшие алтари, а кроме того, все эти жалкие остатки когда-то великих народов так перемешались, что нет никакой возможности сойтись на каком-либо одном вероисповедании... Первые года наши после катастрофы прошли в тяжелой борьбе за существование в совершенно новых, непривычных условиях и в борьбе этой мы все как будто забыли о Боге. Потом, постепенно мы стали приспособляться к новой жизни, стали собирать-

ся небольшими группами, жить стало как будто чуточку легче, и у нас уже есть возможность хоть изредка поднять глаза в небо. И у многих из нас растут дети, и у многих из нас бессонною ночью болит уже о них душа: как же растут они так, без всякой религии? И вот над моей головой разразился страшный удар: в тяжких страданиях утасла на моих руках моя любимица, моя Снежинка, — вон ее могилка... Я почувствовал себя беспомощным пред бездною смерти, мне негде было искать себе утешения, не в чем черпать силы. И я понял, что оттягивать больше нельзя, что люди должны собраться и вновь, общими силами воздвигнуть разрушенный храм. Вы скажете, может быть, что религия это личное дело каждого, но всякий человек хотя бы с небольшим религиозным опытом знает, что индивидуализм в этой области удел исключительно сильных натур, и что и эти немногочисленные Прометеи часто, почти всегда приходят потом к церкви, к соборности. Людям почему-то нужно молиться непременно сообща. Но как молиться теперь? Выбрать одну из старых религий? Их много — какую? И где храмы? И где подготовленное священство? И, главное, неужели же возьмем мы на свои слабые плечи все ошибки тысячелетий, все преступления, всю их вражду? Нет, мы должны использовать богатый опыт прошлого, но начать строить заново...

— Конечно... Это верно... — слышались одобрения. — Правильно...

— Я много думал об этом... — продолжал Глеб. — И вы, может быть, разрешите мне поделиться с вами моими думами.... Это послужит нам отправной точкой, а храм будем мы строить уже общими силами...

— Господа, вы знаете, я атеист... — сказал толстый итальянец. — Вам не помешает мое присутствие?

— Отчего же? Нисколько... — отвечали некоторые. — Оставайтесь...

— Я думаю, что главной причиной розни людей в религиозной области была всегда догматическая часть религий... — продолжал Глеб. — То есть, то, что придумано было слабым умом человеческим, чтобы как-нибудь оформить, дать

жизнь смутным устремлениям человека в тайны бытия и Бога. И скоро эти бессильные попытки обратились в какой-то буйный чертополох более или менее неудачных выдумок, который и закрыл собою вечное солнце...

— Превосходно!.. — сказал Эдвард.— Слушайте...

— И потому первое, что мы должны сделать, это отказаться раз навсегда от всякой догматики, — продолжал Глеб, — от всяких попыток уловить бесконечность в непрочные сети слова. В особенно удачные, в особенно светлые минуты бытия моего я чувствую, я несомненно знаю, что Он есть, и я склоняю пред Ним колени со смирением и восторгом. Какой Он? Любовь? Разум? Свет? Мудрость? Я не знаю. Он слишком велик, чтобы выразить Его каким бы то ни было словом человеческим. И потому от всяких определений Его, от всякой даже символики мы отказываемся навсегда... Вот пред нами голубая безбрежность моря, слившаяся на горизонте с голубою безбрежностью неба, — разве недостаточно этого вечного символа светлой бездны Его, символа Вечности? И давайте для начала теперь же преклоним колени пред светлым величием Его...

Все умиленно опустили на колени, — только толстый итальянец стоял с неловкой, слегка насмешливой улыбкой. Многие простирали в бездну мозолистые, трудовые руки. Глеб, восторженно раскрыв объятия, стоял над безбрежностью, как жрец еще не родившейся религии. Ирмагд тихонько о чем-то плакала. Старенький турок отошел в сторонку тихонько и стал набожно творить намаз — по-старому; он думал, что так будет все же вернее. Старый реб Лейзер, потупившись, пощипывал бороду и на умном лице его было ласковое, необходимое сомнение.

— Так... Вот это было хорошо... — тепло сказал Глеб. — И да будем мы всегда помнить эти святыя мгновенья!... Но, друзья мои, все же совсем без внешней обрядности обойтись нельзя, — за это говорит тысячелетний опыт человечества. Пусть эти внешние формы будут свободны, не обязательны, пусть мы будем неустанно совершенствовать их, но они нужны. Вот умерло у вас дорогое существо, — так что же, завернуть его в холст, положить в яму и конец? Нет,

сердце наше в таких случаях особенно просит близкого присутствия Бога, торжественности, соборности, людей. И не только горе, зовет человека к Богу и тяжкий грех, грызущий душу бессонными ночами... — тихо прибавил он, стараясь подавить тяжелый вздох.

Ирмгард печально и внимательно посмотрела на него сквозь слезы. Она поняла, что он говорит о том тихо-лунном вечере, когда прозрачно перекликались в зарослях маленькие совы, а там, на берегу... И она тяжело вздохнула.

— И хочется нам озаглаживать как-нибудь и рождение ребенка... — продолжал Глеб. — И надо как-нибудь соборно вспомнить тех светильников человечества, без которых жизнь человеческая была бы так бледна и мертва. И надо соборно поддерживать человека на его трудовом пути. И вот прежде всего я оставил бы для религиозных собраний старый воскресный день — шесть дней трудись, а на шестой отряхни земной прах с ног твоих и воскресни к небу. Затем я установил бы празднование памяти великих учителей человечества: Иисуса, Будды, Зороастра, Конфуция, Моисея и многих других светильников Божиих...

— И Магомета... — вставил старенький турок. — Как же забыл ты Пророка?... Ай-яй...

— Да, конечно, и Магомета... — повторил Глеб. — А кроме того я установил бы праздники труда: весной — Благословения Начал, осенью — Завершения Круга и зимой — Покоя в Господе.

— Прекрасно!... — раздались голоса. — Очень хорошо!...

— Виноват, что я перебиваю... — сказал Эдвард. — Я хотел бы сделать одно существенное возражение... Мы не можем...

Вдали вдруг раздалось несколько беспорядочных выстрелов. Все в тревоге схватились за оружие. Послышался быстрый скок лошади, и чрез несколько минут из-за кустов вылетел на неоседланном коне Борис, старший сын Глеба. Левый рукав его рубашки был весь в крови.

— Что такое? — раздались со всех сторон голоса. — В чем дело?

— Ты ранен? — воскликнула тревожно Ирмгард.

— Это пустяки, царапина... — возбужденно отвечал Борис, властный, решительный, не знающий сомнений юноша с красивым лицом. — Это деревенские татары стреляли. С тех пор, как мы нашли в развалинах Ялты эти ящики с обувью, спичками, ну, и всяким там добром, а им ничего не досталось, они злятся на нас. И вот, когда я гнал сегодня стадо, они из засады напали на меня. Надо немедленно всем идти туда, — иначе они или перепортят весь скот, или угонят его в горы.

— Вот проклятые разбойники!... — послышались со всех сторон озлобленные голоса. — Идем скорее... Ящики... А когда они добыли себе где-то эти бочки с керосином, мы же не стреляли в них. Негодяи!... Покоя нет от них... Ну, скорее!...

Все с возбужденными криками скрылись в кустах, — только Ирмагд одна осталась у могилки. Глеб тоже оставился и, обернувшись, печально смотрел на жену из зарослей. В изнеможении скорби она опустилась на землю, припала к могилке и, рыдая, тихо и нежно говорила:

— Девочка... деточка моя... слышишь ли ты меня, маму свою?... Видишь ли, чувствуешь ли ты боль мою, солнышко мое?... О, какая мука!

— Ирмагд! ... — проговорил Глеб тихо, подходя.

— Что тебе? — подняв голову, с тоской спросила жена надломленным голосом.

— Между нами легла кровь и мы стали чужими... — сказал он. — Сколько лет одиночества и страданий! Но вот пред лицом Бога и над могилой нашей девочки я предлагаю тебе: забудем наше тяжелое прошлое во имя ее...

Ирмагд поднялась с земли и, обняв мужа, мучительно зарыдала на его груди.

— Глеб, Глеб, как тяжело... как больно... и эта ее смерть ... и то... и все, все, все...

— В основе всякого человеческого храма — слезы и разбитые сердца... — подумал Глеб печально и на глазах его выступили слезы и он не знал, что сказать жене, сердце которой исходило кровью у него на груди.

VIII.

ТЕНЕТА ЖИЗНИ

Бедно и сурово обставленная комната. На стене и в углах оружие: старые винтовки, копыя, рогадины, топоры. Еще более постаревший Глеб и младший сын его, Лев, сильный юноша, но поэт, пламенный мечтатель, мастерят улья. Реб Лейзер сидит, устало опершись на клюку. В окна угрюмо смотрит непогожий осенний день и слышно, как бушует море...

— Что ты такой хмурый сегодня, Лев? — проговорил реб Лейзер. — Молодой человек должен быть бодр и весел, — на то он и молодой человек...

— Я все думаю о нашей осенней поездке по побережью ... — отвечал Лев. — Сколько мертвых городов обошли мы в поисках за патронами и вообще за добычей, которая могла бы пригодиться нам! Как богато цвела тогда тут та, угасшая жизнь, которой я не застал... Я знаю о ней только из рассказов отца да из тех разрозненных книг, которые иногда случайно мы находим... И многие из них на незнакомых языках... Как жаль, отец, что ты не учил нас в детстве этим языкам...

— Уверяю тебя, друг мой, что нам было не до языков... — сказал Глеб. — Нам нужно было неустанно биться за завтрашний день для вас. Очень трудно было, милый...

— Хотя бы книг достать побольше... — сказал Лев. — Сколько видел я их в Одессе, в развалинах, но как только возьмешь в руки, так она и рассыплется...

— Я все мечтаю о переселении на мою старую родину... — сказал Глеб. — Очень я тоскую иногда по ней. Да как-то и тесно становится здесь от всех этих ссор и раздоров между соседями... Так вот там, в нашем дедовском доме, была очень богатая библиотека. Когда я был там в последний раз — вот когда мы встретились с твоей матерью, — она была почти вся цела, хотя дом и очень пострадал. Но боюсь,

мальчик, большие разочарования ждут тут тебя... Чего ждешь ты от книги?

— Как чего? Всего... — отвечал сын. — Вот ночью звездное небо раскинется над темной землей, — поднимешь глаза и затоскуешь: что значат эти золотые письма? Есть ли там, действительно, Тот, Большой и Ласковый, кого чувствует, кого зовет сердце? А сам я кто? И зачем? И откуда? И куда? И как проходить мне путем моим? О, иногда я целые ночи напролет не сплю и все думаю, думаю...

Глеб, оставив работу, печально и проникновенно посмотрел на сына и, качая головой, сказал:

— Не найдешь ты, милый, ответа в книгах на беспокоящие вопросы твои...

— Как? Так зачем же было написано столько книг? — воскликнул юноша.

— Миллионами книг своих люди, в сущности, только спрашивали то, о чем спрашиваешь и ты, но... ответа они так и не получили... — тихо сказал отец. — И все тысячи тысяч книг, который тихо тлеют теперь по лицу опустевшей земли, в конце концов заключают в себе только четыре маленьких слова: я ничего не знаю...

Реб Лейзер укоризненно покачал своей седой головой.

— На днях я был на религиозном собрании в Учан-Су... — продолжал Лев. — Если бы ты видел, как все ссорились и кричали там!.. Одни утверждали, что среди установленных праздников не было праздника св. Духа, что все эти новшества опасны и вызывают только расколы; другие кричали, что раз установлены праздники в честь великих пророков, то нельзя не установить и праздника в честь Того, чьей силою глаголали пророки. Я осмелился выступить и сказать, что надо все минуты жизни своей посвятить Богу, чтобы вся жизнь была одним сплошным гимном, но на меня со всех сторон сердито закричали, что я не должен учить старших, что мы вообще слишком уже хотим во всем верховодить, что тот же Эдвард всюду и везде говорит, будто бы, что ты повел людей по ложной дороге, что не надо было уступать толпе ни в чем... Потом стал говорить старый Сулейман о многоженстве: по его мнению, в этом нет ни-

какого греха, ибо установлено оно самим Магометом, которого мы сами же признали великим пророком...

Дверь вдруг растворилась и в комнату вешним вихрем влетела хорошенькая Маруся, и дерзкая, и нежная, и хохотушка...

— Папочка, с Перекопа вернулись Боря и Андрей... — радостно крикнула она. — Они сейчас придут к тебе вместе со стариками. Идем, Лев...

— Да постой ты, стрекоза!... — улыбнулся отец. — А мама где?

— У себя... Молится, как всегда... — отвечала девушка. — Ну, бежим же, Лев...

Вместе с братом она унеслась опять.

— Ну, слава Богу, что вернулись... — сказал Глеб. — Я начал было уже бояться за них...

— Но напрасно говоришь ты, друг, так с сыном твоим... — проговорил реб Лейзер. — Горечь жизни и сам узнает он в свое время. Он верит и ты делай вид, что веришь вместе с ним. Время цветению и время плодам и время усыханию и смерти, — всему свое время и не надо мешать все это вместе...

— Мне кажется, лучше предупредить разочарование... — сказал Глеб. — Пусть не требует он от жизни невозможного...

— Зачем обрывать у бабочки крылья только потому, что первым же утренником ее все равно убьет?... — возразил ласково старец. — Пусть попорхает, пусть порадует. Да и не последователен ты: то горечью седого Экклезиаста исполнены речи твои, то горячо стремишься ты к людям, чтобы научить их, устроить, как лучше...

— В этом ты прав, старый друг... — вздохнул Глеб. — Две души живут в груди моей: одна — полная безнадежности, а другая — влекущая к людям, чтобы в бестолковую суету их внести хоть немного мира, гармонии, красоты, хоть немного, хоть на миг один... И никак две силы эти не могут победить одна другую. Устал, устал я от людей, опять устал, и хочется уйти дальше, но чувствую, как тенета жизни все

более и более запутывают меня, и тяжки они мне, и нет у меня сил разорвать их...

За стеной послышался шум.

— Вот жизнь идет... — печально усмехнулся Глеб.

Маруся, улыбаясь, широко отворила дверь и впустила в комнату старейшин, а за ними Бориса, Андрея и Льва. Все они были вооружены.

— А-а, милости просим ... — приветствовал прибывших Глеб. — Здравствуй, Боря... Андрей, здравствуй... Ну, садись, садись... Вот так... Ну, как там? Все слава Богу?

— Пока слава Богу... — отвечал Борис, поставив винтовку в угол. — Тревога оказалась преждевременной. Мы вышли за Перекоп в степи и скоро один из дозорных увидел небольшой отряд всадников, который подвигался на запад. Мы издали, скрываясь, стали следовать за ними, и вот, когда стало уже смеркаться, у одного из них расседлался конь, он отстал и я его заарканил так, что он и пикнуть не успел. Мы взяли его, но допросить нам не удалось, потому что он говорил на каком-то совершенно незнакомом нам языке. По виду же он был похож на тех азиатов, что подходили к Перекопу весной: маленький, коренастый, с раскосыми звериными глазками...

— Вы привезли его сюда? — спросил Глеб.

— Нет... — отвечал Борис. — Ему удалось как-то незаметно перерезать аркан и он с ножом бросился на меня, но Андрей ударом сабли успел положить его на месте.

— О!... — восторженно воскликнула Маруся, не сводившая влюбленных глаз с Андрея, сильного и простого. — О!...

— Коня я привел... — сказал Борис. — Годится. Хотя очень зол, — настоящий азиат...

— Да, князь, жить с той беспечностью, с какою мы жили до сих пор, больше нельзя... — сказал, шевеля своими густыми бровями, старый Григорий, бывший некогда богатым крестьянином. — Земля наша прекрасна и обильна, а порядка в ней нет... Нужен порядок... Этот отряд прошел стороной, другой прошел стороной, а третий, глядишь, и к нам завернет... И горные татары опять же все тревожат добрых людей. И распределение того добра, что привозят наши мо-

лодцы из старых городов, надо наладить как следует. Надо краю порядок дать. Без пастуха стадо не живет...

— У нас есть пушки, а пороха почти нет уже, есть пара самоходов и человек, знающий это дело, есть, а нет бензина или спирта какого-то там, что ли... — вставил сухой и сердитый Николаев, бывший офицер. — Так и все развалится. Нужен хозяйский глаз...

— И нужно прочно укрепить Перекоп на всякий случай и иметь там постоянный и хорошо вооруженный гарнизон... — сказал Куртыш, кузнец-молдаванин с оливковой кожей и агатовыми глазами. — Да и внутри страны нужно установить постоянную стражу для охраны спокойствия и порядка: вон в пещерах Чатыр-дага появились какие-то молодцы, которые работать не хотят, а чужим полакомиться не прочь. И всего-то их, говорят, четверо, а покоя от них нет. И пропавшая девушка из Алушты это непременно их рук дело... И суд народу нужен ...

— Что тут говорить? Нельзя больше жить так, как до сих пор жили, это верно ... — сказал Рахмет, старый черкес с вытекшим глазом. — И вот насчет веры ошибка у нас вышла: нельзя судить всякому вкривь и вкось в этих делах... И опять насчет храмов: поставить новый, как мы хотели, у нас не хватает сил, — так, может, из старых какой приспособить пока. Что им так, зря пропадать-то? В Симферополе хорошая мечеть уцелела... Да и вообще я так полагаю, что надо, где можно, старинки придерживаться: оно так-то вернее будет... Всего заново не придумаешь... Давайте соберем собор стариков со всей Тавриды, пусть все обсудят, закрепят, а потом пусть выберут главу церкви, чтобы и ведал один он этими делами.

— И главу церкви надо, и главу стране... — сказал Григорий.

— Да ведь управлялись же мы до сих пор советом старейшин... — сказал Глеб.

— Я сам, князь, член совета, — учтиво сказал г. Сервэ, бывший учитель из Женевы, — а должен прямо сказать: в данное время это не дело. И споров много, и разговоров, и эта борьба самолюбий... Теперь время тяжелое... Бог знает,

что значат эти передвижения кочевников в степях. Хорошо, если это только остатки монгольских орд рыщут, а если это первые ласточки нового потопа из Азии? Нам нужны теперь не разговоры, а железная рука, которая навела бы внутри страны порядок, Перекоп укрепила бы, поставила бы там хороший отряд стражи. Сейчас нас горсточка, раздавить нас ничего не стоит, а услышат люди, что у нас порядок, станут собираться все под крепкую крышу и будем мы жить в силе и потому в покое.

— И надо договаривать до конца, старики... — сказал Николаев. — Дело серьезное и в прятки играть нечего. У нас давно уже идет речь обо всем этом и мы думаем просить вас, князь, взять власть в стране на себя...

— Да что вы, господа?... — воскликнул Глеб. — Я об этом никогда и не думал...

— Не думал, так подумай... — сказал Куртыш. — А если ты дашь свое согласие, мы подготовим народ и уже всем миром будем просить тебя стать царем над Тавридой...

— Нет, старики... За честь благодарю, но увольте... — сказал Глеб. — Уж лучше взять Эдварда, — он и помоложе, и подтверже...

— Нет, его народ не примет... — возразил Григорий, двигая бровями. — Холодный человек он. А ты и роду хорошего, и первый поселенец тут, и все тебя уважают... И наследники опять же есть...

Григорий не договаривал: ему Эдвард был неприятен еще и тем, что ему хотелось над русской землей, как Таврида, иметь и царя русского.

— Нет, увольте, господа... Устал я, не могу... — повторил Глеб.

— А тогда старшего сына вашего, Бориса, просить будем... — сказал Николаев. — И воин храбрый, и голова на плечах хорошая, и рука твердая...

— Это его дело... — сказал Глеб, польщенный. — Пусть послужит стране, — если может, конечно...

— Благодарю, старцы, за великую честь... — сказал Борис, вставая. — Я готов отдать все свои силы родине. Воин-

ское дело я люблю, а в делах управления и вы поможете мне своим советом, и отец не откажет...

— Вот и хорошо... — сказал весело Григорий. — И бери вожжи в руки... Только вот женить тебя надо — без наследника не порядок.

— А мы подготовим народ... — тоже повеселев, заметил Рахмет. — Все рады будут, всем порядка и покоя хочется...

— Ну, слава Богу... Доброе дело начато... — сказал Куртыш. — А теперь, старики, и по домам пора: уже темнеет... Идемте-ка...

— Да, да, пора... — согласились все, вставая. — Вот только как с главой церкви быть, надо думать... Идем... Прощай, князь... Молодежь, прощай...

— И мне тоже пора... — прошамкал реб Лейзер устало. — Прощайте друзья мои... О-хо-хо-хо... — тяжело вздохнул он.

Глеб, Борис и Лев вышли, провожая стариков.

— Как шумит море... — смущенно, после долгого молчания проговорил, наконец, Андрей.

— Очень мне нужно твое море!... Ха-ха-ха... — насмешливо бросила Маруся. — Нет, ты вот посмотри, что я в старой отцовской книге нашла... Ах, Боже мой, да где же она?... Ах, вот!... — воскликнула она и, схватив старую Библию, торопливо стала перелистывать ее. — Да где же это?... А вот... Ну-ка, прочти... Вслух, вслух!...

— «В горах распустились цветы и вновь заворковали горлинки, — смущенно прочел Андрей. — Что же не идет возлюбленная моя?..»

— Вот... — сказала Маруся насмешливо и уверенно прибавила: — Только тут ошибка...

— Ошибка? — удивился Андрей, подняв на нее зачарованный взгляд.

— Да... — кивнула она головой. — Тут написано «возлюбленная», а надо «возлюбленный»... Ну, что, как? Понимаешь? — насмешливо говорила она и вдруг, звонко расхохотавшись, крикнула: — У-у, чучело гороховое!..

И — убежала...

IX.

КОЛЕСО ЖИЗНИ

На залитой веселым весенним солнцем площади пред старым храмом собрался со всех концов Тавриды народ, — все грубоватые, загорелые, трудовые люди. За храмом смеется лазурная даль морская, а вокруг — пышно ликует весна. На паперти на почетных местах сидят старцы, очень постаревший Глеб, печальная Ирмагд и реб Лейзер.

— Граждане... — встав, обратился с паперти к народу Григорий и густые брови его задвигались. — Собрание старейшин, с благословения его святейшества Мафусаила I, верховного главы святой религии нашей, уполномочило меня предложить на разрешение всенародного собрания два важных вопроса, от разумного решения которых зависит вся наша жизнь. Вопрос первый: желает ли народ управляться по-прежнему советом старейшин или же, в виду большой опасности из степей, надлежит нам избрать единого правителя?

— Царя!.. Царя!.. — закричал народ. — И скорее на Перекон!... Царя!..

— Значит, вопрос первый народное собрание решило так: избрать царя... — сказал Григорий. — Теперь ставлю вопрос второй: кого именно избрать нам царем над нами?

— Бориса... Бориса... Эдварда... — полетело со всех сторон. — Бориса...

— Итак, мы слышим два имени: Бориса, сына князя Глеба, и Эдварда, которого мы почему-то не видим среди нас... — сказал Григорий. — Пусть те, что желают иметь царем Бориса, станут от меня направо, а те, кто хотят Эдварда, пусть станут налево... Вот так...

Огромное большинство переходит на правую сторону.

— Итак волею народа постановлено избрать на царство Бориса, сына князя Глеба... — среди криков восторга громко сказал Григорий. — Князь Борис, народ бьет тебе челом

царской короной Тавриды, — согласен ли ты принять ее и, приняв, обещаешься ли ты править нами по чести и по совести?..

Борис, в воинских доспехах, поднялся на паперть и, обратившись липом к народу, с волнением, но твердо проговорил:

— Принять корону согласен. Благодарю народное собрание за честь и доверие. Обещаю править страной по чести и по совести, имея одну только заботу: благо народное...

Снова со всех сторон раздались бурные, восторженные приветствия. И вдруг полный ужаса крик хлестнул по воздуху: «Эдварда убили!..» Народ в волнении окружил перепуганного подростка, который, весь бледный, дрожа и путаясь, рассказывал, как он наткнулся в саду на труп Эдварда, плавающий в крови.

— Это татары... — взволнованно говорили люди. — Вот разбойники!..

— Да, знаем мы этих татар-то... — многозначительно бросил кто-то. — Значит, мешал кому-то...

— Я слышу печальную весть... — сказал с паперти среди общего возбуждения Григорий. — Жаль, что таким злым делом омрачили торжество наше, но пусть народ будет спокоен: убийцы от правосудия не уйдут...

— Не лукавь, старик!.. — крикнул кто-то из толпы, и волнение еще более усилилось.

— Но мы не должны отвлекаться от великого дела устроения земли нашей ничем... — продолжал Григорий невозмутимо, то поднимая с усилием заросли своих бровей, то вновь опуская их. — Старцы, благоволите просить его святейшество выйти к народу и на глазах всех венчать на царство избранника нашего князя Бориса...

Старцы торжественно растворили двери храма и оттуда медленно и величаво вышел седовласый Мафусаил, в белом одеянии и с длинным пастушеским жезлом в руках. За ним следовали жрецы со светильниками и кадильницами и большой хор в красивых одеждах. Народ благоговейно склонился.

— Да будет благословение Божие над всеми вами... — мягко и набожно проговорил Мафусаил, простирая руки над народом. — И над всей страной, и над пажитями ее, и над ее судами легкокрылыми, и над доблестным воинством ее...

— Ваше святейшество, — почтительно обратился к нему Григорий, — народное собрание, благоговейно припадая к стопам твоим, просит тебя завершить его волю и венчать на царство избранника нашего, князя Бориса, сына князя Глеба.

— Да будет воля Господня... — отвечал первосвященник. — Князь Борис, ответствуй: согласен ли ты принять венец царский от народа нашего?

— Согласен... — твердо отвечал Борис.

— Обещаешься ли ты пред лицом Бога и пред лицом народа править страной нашей по чести и по совести? — продолжал старец.

— Обещаюсь... — отвечал Борис.

— Дайте корону... — сказал Мафусаил и, когда один из старцев на деревянном, искусно заплетенном резьбой блюде подал ему корону, он продолжал: — Стань на колени, князь... Венчаю тебя, князя Бориса, на царство светлой Тавриды этою короною железною, искусно выкованною из сошника земледельца, дабы, воздевая ее, ты помнил всегда о нуждах народа, в поте лица добывающего хлеб свой. Дайте меч!... — сказал он и, когда другой старец с глубоким поклоном подал ему меч, он продолжал: — Встань, князь Борис... Препоясываю тебя сим, освященным на алтаре Господнем, мечом булатным, дабы был он в руках твоих для всех нас защитой от врагов как внешних, так и внутренних. Дайте мантию!... Воздеваю эту мантию на плеча твои, как знак величия твоего царского, пред которым да склоняется отныне в трепете все... Радуйся, Божьей милостью, венчанный царь наш!... — среди бурных криков народа воскликнул он. — И да покрой меня, недостойного слугу своего, твоею царской милостью... — заключил он и хотел стать на колени, но молодой царь не допустил его и, обняв, поцеловал троекратно.

И среди восторженного рева народа и дождя цветов, который со всех сторон сыпался на новоизбранного царя, торжественно и просто запел впервые новый гимн Светлой Тавриды:

Славься, ты славься, желанный наш царь,
Господом данный нам царь государь...
Царствуй, могучий, на славу всем нам,
Царствуй, державный, на страх всем врагам...

Царь Борис поднял руку и все разом стихло.

— Еще раз благодарю верный народ мой за честь и доверие... — сказал он с новыми, властными нотками в голосе. — Верный слуга правды и закона, я буду требовать того же и от всех. Пусть мирно трудится и земледелец, и ремесленник, и торговый человек в царстве нашем и да наслаждается каждый плодами дел своих, но горе всем ослушникам закона!.. Судьи, которых мы от себя поставим, найдут их всюду и меч мой будет без пощады для них... И первой заботой нашей будет наша молодая, но уже доблестная армия, — сегодня же вы увидите первый отряд ее, который отправляется на Перекоп, на охрану путей в страну нашу. Но мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Население края быстро увеличивается не только путем естественным, но и безостановочным притоком все новых и новых граждан, которых привлекает прелесть нашей страны и царствующее в ней спокойствие. Мы должны думать и о будущем. На север от Перекопа простираются бескрайние, плодороднейшие, но пустынные степи, которые прокормят миллионы людей. Там рыщут теперь никому не ведомые кочевники, которые, нестрашные сегодня, могут стать страшными завтра. И вот, чтобы обеспечить за народом нашим обладание богатейшими пажитями этими, признаем мы за благо незамедлительно, но с мудрою осторожностью выдвинуть вперед, в глубь степей, наши сторожевые охранения и заложить там небольшие укрепления. А вслед за солдатом пойдет постепенно и земледелец, и потечет наша страна медом и млеком, ибо, истин-

но говорю вам, безмерны богатства бескрайних степей этих... Но для выполнения великих задач этих необходимо, чтобы все внутри страны трудились усердно, каждый над делом своим, и чтобы царствовал в стране покой и порядок. Итак, народ мой, с Богом на великий труд устроения молодого царства нашего!...

И долго не смолкали восторженные клики народа, и долго сыпался ароматный дождь цветов на молодого царя.

— Великий государь, — с низким поклоном проговорил старый Рахмет, — собрание старцев почтительно приносит тебе, обожаемому государю, свои поздравления и сердечные пожелания успеха в великом подвиге твоём...

— Благодарим старейшин на добром слове... — отвечал царь Борис. — И в воздаяние великих заслуг их пред родиной в эти тяжелые годы, жалуем всех членов совета старейшин графским достоинством Светлой Тавриды...

И, когда утихли клики старцев и народа, старый Григорий с поклоном доложил:

— Великий Государь, из далекой полуночной страны прибыло к нам посольство, которое желает завязать с нами добрососедские отношения, а пока, прежде всего, желает приветствовать тебя, нашего обожаемого государя...

— Буду рад видеть дорогих гостей... — сказал царь и сел на вынесенный из храма офицерами трон.

Народ расступился и появилось посольство в отороченных дорогими мехами тяжелых одеждах.

— Добро пожаловать дорогие гости... — ласково сказал царь.

— Великодержавный государь наш, всевеликий царь Волжский, Камский и Уральский, приветствует тебя, великого государя Таврического, Черноморского и Степного, и шлет тебе дары от страны нашей... — возгласил рослый, породный посол с огромной светлой бородой и, обернувшись, сделал знак и служители посольские стали подносить дары. — Это вот бочонок меду липового из лесов наших. Это — меха собольи... Это — стерляди копченые камские и икра осетровая из рек северных. Это — камни самоцветные из гор Уральских и слитки золота...

— Благодарю великодержавного государя вашего, все-великого царя Волжского, Камского и Уральского за братский привет и щедрые дары его... — встав, торжественно сказал царь. — Да хранит его Господь на долгие годы и да дарует царству его покой и процветание...

И снова сел он на трон.

— Именем великодержавного государя нашего благодарим тебя за ласковое слово, великий государь... — сказал посол. — И повелел еще царь наш всевеликий переговорить с тобою, пресветлым государем, о том, не будет ли полезно и вам, и нам заключить между собою союз для совместной охраны границ наших от рыскающих кочевников и для обмена богатствами стран наших, для чего удобны будут реки Волга и Дон, а судостроительством исстари славится лесной край наш...

— Об этом мы с радостью будем иметь суждение с вами в один из ближайших дней... — отвечал царь. — А теперь прошу вас занять места ваши...

Послы с поклоном уселись на приготовленные для них скамьи и граф Сервэ доложил о посольстве древней земли греческой, которое поднесло царю и вина благовонного с островов солнечных, и древние рукописания мужей знаменитых, и белоснежную статую красы несказанной. А за ним граф Куртыш представил царю послов от императора германского, которые поднесли царю мечи булатные, ткани поселян и всякие полезные изделия из металлов, дабы царь мог сам судить о несравненном искусстве ремесленников германских.

Царь ласково благодарил всех и просил занять места.

— А теперь желаем мы показать послам иноземным и народу нашему молодое войско наше, которое отправляется на перекопские укрепления... — сказал царь и сделал знак.

В стройном порядке, вооруженные копьями, щитами и короткими мечами, под простые, но воинственные звуки флейт и барабанов, из-за храма вышел отряд воинов под начальством Андрея, остановился пред царем и по знаку военачальника прогремел мужественно:

— Хвала великому государю!...

— Сегодня вы, воины, отправляетесь на охрану путей в нашу Светлую Тавриду, — поблагодарив их, сказал царь. — Один за всех, военачальник ваш принесет теперь клятву в верности нам, государю вашему, и вашей, счастливой вами, родине... Ваше святейшество...

— Подними руку и дай клятву в верности царю и родине... — сказал старый Мафусаил Андрею.

— Клянемся головами нашими, — мужественно начал Андрей, — клянемся жизнью и счастьем всех близких и дорогих нам во всем, на всяком месте, во всякое время быть до конца верными государю нашему, царю Борису I всея Тавриды, Черномории и Степей, и, если понадобится, положить за него и за родину жизнь нашу без сожаления.

— Аминь... — сказал Мафусаил и благословил склонившее колени войско и Андрея.

— Знамя!... — сказал царь и, когда подал ему офицер голубое знамя с вышитым на нем золотым солнцем, он сказал: — Вот вам ваше первое боевое знамя, солдаты, — голубое, как небо Светлой Тавриды нашей, и да взойдет скоро над родиной золотое солнце славы вашей... Возьми...

Андрей принял знамя.

— Стань на одно колено...

Андрей опустился на колено.

— За большие заслуги твои по устройству армии и за беззаветную храбрость, которую ты не раз показал в схватках с кочевниками, жалую тебя княжеским достоинством Светлой Тавриды с присоединением к имени твоему прозвища Перекопский... — торжественно сказал царь и коснулся своим мечом плеча Андрея. — А теперь с Богом в поход ...

Поцеловав царя в плечо, Андрей стал во главе отряда, отсалютовал царю мечом и под звуки музыки воины, со всех сторон осыпаясь цветами, под радостные клики народа удалились. Не радовалась только одна — Маруся: спрятавшись за старыми кипарисами, девушка горько плакала.

Реб Лейзер покачал своей белой головой и прошамкал про себя:

— И всходит солнце, и заходит солнце, и возвращается ветер на пути своя... О-хо-хо-хо...

Х.

ПЕРВЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ

В густой тени развесистых каштанов, за простым столом, в старинном кресле сидит в своем саду совсем постаревший Глеб. На столе стоит грубая чернильница, кипа бумаг и несколько гусиных перьев. По другую сторону стола, сгорбившись, сидит реб Лейзер, весь прозрачный от старости и тихий.

— Ну, спасибо, старый друг, что пришел навестить меня... — проговорил Глеб ласково. — Я очень доволен, что съездил перед смертью в родные места. Жить там теперь с моими ревматизмами трудно, — холодно, сыро, — но повидать родные места было мне очень, очень приятно. И на память привез я оттуда... да что же это они не несут его? Маруся!... — крикнул он.

— Несем, несем... — звонко отозвалась Маруся. Из-за угла вышла она с братом Львом. Они осторожно несли бюст старого сатира. Они его поотчистили немножко и он стал светлее, веселее. За ними шла совсем старенькая Ирмгард, приговаривая: «осторожнее, осторожнее, дети...» Они подошли к круглой клумбе, рядом со столом отца и осторожно поставили сатира на каменную тумбу среди цветов и за любовались им.

— Все смеется, все смеется... — воскликнула Маруся и звонко расхохоталась.

— И тогда он смеялся... — задумчиво сказала Ирмгард. — А лучше было бы, может быть, плакать...

— Кому плакать, кому смеяться... — прошамкал добродушно реб Лейзер. — И то нужно, и другое нужно... Все на своем месте...

— Это старый друг мой... — любовно проговорил Глеб. — И тебе, реб, привез я подарок, и тебе, Лев, — целый ящик старых книг. Да, кстати: твой брат что-то очень недоволен

тобой, Лев. Напрасно ты его так огорчаешь... Ты знаешь, сколько у него теперь трудов и забот...

— Чем же я его огорчаю? — возразил Лев. — Он хочет, чтобы я шел служить, помогать ему в делах управления, но как же буду я устраивать жизнь людей, когда я не знаю, что мне и с собой делать?

— Не столько это его огорчает, сколько твои слишком смелые суждения в делах веры... — возразил отец. — Надо быть осторожнее, милый...

— О, тут я с собой ничего поделывать не могу!.. — воскликнул Лев. — Дело не в том, чтобы без конца воздвигать храмы, украшать богов серебром и золотом, курить им фимиамом, а в том, чтобы с чистым сердцем отдать всего себя Богу и людям. Это я нашел в твоей старой Библии и от этого я не откажусь, пусть хоть сейчас казнят меня... Слепые вожди слепых ведут людей на погибель и я не могу, не могу молчать!.. А брат, вместо того, чтобы понять меня, помочь мне, стал на сторону жрецов... Ему некогда теперь вникать в это — он уже мечтает о восстановлении древней огромной России...

— А что же тут дурного?... — задумчиво и как-то особенно тепло сказал отец. — Россия это дом отцов наших и, если Господь увенчает его усилия успехом, я первый порадуюсь этому ...

— И пусть... Это его дело... — сказал сын. — Но меня пусть он оставит моим книгам и моему одиночеству... Я ничего не ищу, кроме истины...

— Искать истину ничего... — прошамкал Лейзер, ласково усмехаясь. — Только — находить ее не надо... Опасная, опасная это вещь!.. О-хо-хо...

— Ну, мы успеем еще переговорить обо всем этом, — сказал Глеб. — А теперь пойдемте смотреть книги... Истинное чудо, что они уцелели там... Идем, Ирмгард, и тебе там есть подарок: весь Гёте на твоём родном языке...

— А кто это Гёте? — спросил Лев.

— Это был великий германский поэт, — сказала мать. — Но я боюсь, что стара уж я для него стала, — теперь мне и молитвенника моего довольно.

— Идемте, идемте... — торопил Глеб.

— Идите, а я твоего старого друга приберу, как следует... — сказала Маруся.

— Прекрасно, спасибо... — отозвался отец, уходя. — Я очень, очень доволен. Если бы не ревматизмы, не поясница...

Они все скрылись за углом дома. Маруся разравнивает землю на клумбе, подвязывает цветы, сажает веточку плюща и обвивает ею пьедестал. Из-за дома выходит в блестящих доспехах военачальника Андрей, останавливается и любуется девушкой.

— Маруся!.. — тихо позвал он, наконец.

— Ай!.. Андрей!.. Милый!.. — взвизгнула она и бросилась к нему на шею. — Как же ты долго!.. Еще немного и я не знаю, что бы я с тобой сделала...

— А что, например? — целуя ее, смеялся Андрей. — Милая, да разве ты не знаешь, как я всегда тоскую вдаль от тебя? Ведь, только около тебя, я и живу, радость моя... А эта разлука была особенно длинна. Как это было там, в твоей старой книге? «Уже покрылись горы цветами, и заворковали горлянки по лесам, — что же не идет возлюбленная моя?» Вот так и я там, на севере: уже пронеслись стаи журавлиные, уже покрылись цветами степи — что же нет со мной возлюбленной моей?

— Милый, милый... — лепетала Маруся, вся сияя.

А над счастливой парочкой — улыбающееся лицо старого сатира.

— Но теперь уже недолго и ты будешь моей... — продолжал Андрей. — Я хорошо потрудился для Родины. Авангарды наши подошли уже к лесам и, может быть, за лето мы продвинемся и до старой Москвы. Царь Волжский прекрасно понимает, что ему с его слабыми силами теперь с нами не бороться и идет на все уступки. Дела идут превосходно и, уезжая, я отдал приказ по сторожевой линии: пропуск — Россия!

— О, мой герой!.. — шептала восторженно Маруся. — Какое это счастье, какое счастье чувствовать себя твоей!...

— Я заслужил хорошей награды и государь даст мне ее ...
— продолжал Андрей. — Но я возвращу ему ее и скажу: мне ничего не надо, — отдай мне только сестру твою... А если он разгневается?.. Ведь тебя, говорят, просит уже за своего сына царь Волжский...

— Очень мне нужен твой царь Волжский!.. — воскликнула девушка. — Пусть только брат попробует... Возьмем и убежим — разве мало места на земле? И царь, и Россия, все это хорошо, ну, а только сперва ты, а потом уже и это все...

— Ш-ш-ш-ш... — засмеялся Андрей. — Что ты болтаешь, дерзкая?.. Но Боже, Боже, как безмерно я счастлив!..

Глеб вышел из-за дома и остановился, умиленно любуясь молодой счастливой парочкой, но Андрей с Марусей, не замечая отца, обнявшись, пошли в глубину сада и Глеб подошел к своему столу.

— Вот: одни упиваются словами любви, а другие старыми книгами... — подумал он и, почему-то вздохнув, крикнул к дому: — Лева, что же ты?

— Иду, иду... — отозвался сын, выходя на террасу.

— Давай, брат, часок попишем... — сказал отец. — Садись, милый... Давно не держал я в руках моей летописи, даже соскучился ... — продолжал он, садясь вместе с сыном к столу. — Ну-с, это что? — говорил он, перебирая рукописи. — «Я, князь Глеб Суздальский, родился в 1918 г. среди бурь войн и революций...» — ага, это начало... А это? «Собрание старейшин Тавриды впервые было создано мною в 1967 г. ...» Так, дальше... «Появление таинственных конных отрядов в степях взбудоражило все наше еще очень редкое население Тавриды...» Так. Это глава о прибытии первых судов и колонистов из Соединенных Штатов... Так. А теперь будем продолжать — всего лишь одно еще, последнее сказанье и летопись окончена моя... Ну, пиши, милый... «Вскоре после моего возвращения... из поездки в наше родовое гнездо... я узнал, что в голове государя... сына моего ... — написал? — уже родилась великая мысль... о... восстановлении... древней... великой... России...»

Лев усердно пишет. Солнечный луч, пробившись сквозь густую листву каштана, ярко освещает склоненную над ле-

тописью фигуру молодого человека и сосредоточенно диктующего старца. В глубине сада, обнявшись, проходит счастливая своей любовью парочка, Маруся и Андрей... Старый сатир тихонько, ласково смеется...



Приложение

Ив. НАЖИВИН. В о м г л е г р я д у щ е г о. Повести. Изд-во «Детинец». Вена. 1921 (203 стр.).

Повести Наживина — фантазии на тему отдаленного будущего. В первой из них «Искушение в пустыне», автор рисует картину европейских событий в начале 1931 года. Коммунисты всех стран за прочными решетками английской тюрьмы и международная комиссия по борьбе с коммунизмом предлагает им, для осуществления планетарного опыта отдаленный остров. Коммунисты с радостью принимают предложение. Но на первых же порах борьба честолюбий и мнений приводит вместо чаемого земного рая к чрезвычайке. Мечта об осуществлении опыта рушится, к великому удовольствию члена международной комиссии, большого скептика и материалиста, профессора Богданова. Благоразумные коммунисты возвращаются в лоно буржуазной государственности. Финал, поистине, трогательный. Вставший на путь истины коммунист любовно мечтает построить на «Горе великого разума» — ресторан. Вечер тих. Музыка играет «God save the King». God save the King — вообще постоянный лейтмотив повестей г. Наживина. В следующем своем произведении «Круги времен», во имя торжества своей идеи, он в прихотливой фантазии своей рушит весь мир, отдавая на поток и разграбление диким ордам азиатов всю Европу. На развалинах когда-то цветущих стран начинается полу-дикая, полу-кочевая жизнь впавших в детство народов. Судьба истории, все же, сохранила несколько культурных людей, которые в полуразрушенной Таврии выбирают царя. Царь Борис принимает из рук царевича венец, и едва ли не повторяет знакомое: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжити и володети нами». От Гостомысла и к Гостомыслу — такова мораль «Кругов времен». И не-

даром новый гимн Таврии, как его называет г. Наживин, звучит по-старому:

«Славься ты, славься, желанный наш царь!
Господом данный нам царь-государь!»

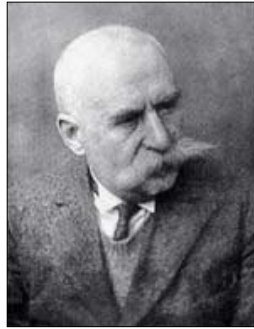
Таково идеологическое содержание этих повестей. О художественности выполнения говорить не приходится. Искусство вряд ли когда-нибудь может мириться с политической пропагандой. Герои Наживина плохо прячут лица современников под фантастическим маскарадным костюмом. Воин Таврии, существо полудикое, что-то вроде дружинника Трувора, выражается языком строевого, знающего «Устав полевой службы» офицера:

«Я отдал приказ по сторожевой линии.
Пропуск — Россия».

Может быть, это мелочь, но она характерна и дает представление о стиле этой единственной в своем роде книги.

Новая русская книга (Берлин). 1922. № 3, март. С. 12.

Об авторе



Иван Федорович Наживин родился в 1874 г. в Москве, в семье богатого лесопромышленника, купца 2-й гильдии, выходца из крестьян. После семи лет обучения был исключен из средней школы, безуспешно пытался заниматься лесоторговлей, к которой, в отличие от писательства, не чувствовал никакой склонности. Благодаря материальной поддержке отца подолгу жил за границей (Швейцария, Франция), бывая в России наездами.

Первая публикация – рассказ «Агапыч» в журнале «Природа и охота» (1890); позднее печатался в журналах «Русская мысль», «Образование», «Русское богатство» и др. В 1902 г. писатель вступил в гражданский брак с еврейской студенткой Лозаннского университета Анной Зусман (с которой обвенчался в 1908 после принятия ею православия); по окончании ею университета Наживины приехали в Россию, жили в Полтавской губернии, затем на Волге.

В 1900-1904 гг. Наживин выпустил ряд сборников рассказов и очерков из народной жизни («Родные картинки», «Убогая Русь», «Перед рассветом», «Дешевые люди», «У дверей жизни»), сборник путевых заметок о Турции, Греции и Италии «Среди могил».

Со времени знакомства в 1901 г. Наживин испытывал растущее влияние Л. Толстого, неоднократно бывал в Ясной Поляне.

После революции 1905 г. испытал разочарование в революционных идеях, настаивал на необходимости преобразования личности как предпосылки общественных перемен. Эти настроения Наживина отразились в автобиографическом романе «Менэ... тэ-

кел... фарес» (1907), в книге «Моя исповедь» (1912). Одновременно, под влиянием Толстого, начал изучать жизнь русских духов, индийские и персидские религиозные учения; ряд материалов был собран в книге «Голоса народов» (1908). В 1911-17 гг. в Москве вышли 6 томов собрания сочинений Наживина; книги, означенные как отдельные тома этого собрания, продолжали впоследствии выходить в Европе и Китае.

В начале Первой мировой войны Наживин жил за границей. В 1916 г. вернулся с женой и 4 детьми в Россию. Революцию 1917 года писатель встретил резко отрицательно, в 1918 г. уехал на занятый белыми Юг, примкнул к войскам Н. Врангеля, сотрудничал в белогвардейских газетах. В 1920 г. Наживин выехал с семьей из Новороссийска в Болгарию, затем жил в Австрии, Югославии и Германии, с 1924 г. и до конца жизни – в Бельгии.

В первые годы эмиграции Наживин опубликовал целый ряд мемуарных и автобиографических произведений: «Записки о революции» (1921), «Перед катастрофой» (1922), «Среди потухших маяков: Из записок беженца» (1922); «Накануне: Из моих записок» (1923) и др. Занимая вначале непримиримую по отношению к большевизму позицию и выражая монархическую ностальгию, писатель быстро осознал, однако, «гниль» и обреченность старого порядка, вину за происшедшее с Россией возлагал на бездарное правление Николая II.

Трехтомный роман «Распутин» (1923-1924) принес писателю европейскую известность. За ним последовали «беженские» романы «Фатум» (1926) и «Прорва» (1928), исторические романы «Перун: Лесной роман» (1927), «Бес, творящий мечту: Роман из времен Батые» (1929), «Глоголют стяги... Исторический роман из времен князя Владимира» (1929), «Во дни Пушкина» (1930), «Софисты: Роман-хроника из жизни Греции V века до Рождества Христова» (1935) и пр. Обширный пласт романов Наживина был посвящен религиозной жизни человечества в переломные эпохи; таковы романы «Иудей: Исторический роман из жизни Рима в I веке» (1933), «Лилии Антиноя» (1933); «Расцветавший в ночи лотос: Исторический роман из времен Моисея» (1935), «Евангелие от Фомы» (1935). В 1936 г. была издана книга о Л. Толстом «Неопалимая купина: Душа Толстого». Наряду с романами из эмигрантской жизни писал Наживин и фантастику: к ней относятся сборник повестей «Во мгле грядущего» (1921), «евгенистический роман» «Остров блаженных» (1935), роман «Собачья республика» (1935).

В целом в эмигрантские годы Наживин отличался крайней плодотворностью, написав около полусотни романов и повестей. Его книги издавались практически во всех центрах русской эмиграции: Берлин, Париж, Новый Сад, Рига, Харбин, Тяньцзинь и т.д. В 1930-е годы писатель начал лелеять мысль о возвращении на родину, обращался в советское представительство в Париже с ходатайством о принятии его в советское гражданство, в 1936 г. обратился с письмом к И. Сталину. Умер И. Ф. Наживин в Брюсселе в начале апреля 1940 г.

Повесть «Искушение в пустыне» публикуется по авторскому сборнику «Во мгле грядущего: Повести» (Вена: Детинец, 1921). В тексте исправлены очевидные опечатки; орфография приведена в соответствие с современными нормами. Написание имен и названий и авторская пунктуация сохранены без изменений. Для удобства чтения фразы, набранные в оригинале разрядкой, даны курсивом.

Оглавление

I. Anno Domini 1947	7
II. Гибель России	13
III. Последние дни Европы	14
IV. Стихи Гёте	20
V. Сон поэта	26
VI. На земле снова тесно...	39
VII. Восстановление Храма	46
VIII. Тенета жизни	51
IX. Колесо жизни	58
X. Первый летописец	65
Приложение	
Ф. Иванов. Ив. Наживин. «Во мгле грядущего»	71
Об авторе	73

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.